



**Вильям Федорович Козлов**

# **Когда боги глухи**

Серия «Андреевский кавалер», книга 2

*Scan, OCR, SpellCheck, Чернов Сергей (z.Orel) chernov@orel.ru*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=139038](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139038)*

*В.Козлов Андреевский кавалер: С-П., АО «ВИС»; Санкт-Петербург;*

*1995*

*ISBN 5-7451-0027-3*

## **Аннотация**

Во второй книге трилогии автор продолжает рассказ о семье Андрея Абросимова, андреевского кавалера. В романе, который охватывает период с конца Великой Отечественной войны до середины 70-х годов, действуют уже дети и внуки главы семьи. Роман остросюжетен, в нем есть и детективная линия. Показывая жизнь во всем ее разнообразии и сложности, автор затрагивает и ряд остросоциальных вопросов.

# Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
1	5
2	16
3	26
Глава вторая	34
1	34
2	67
3	76
Глава третья	85
1	85
2	96
3	115
Глава четвертая	132
1	132
2	144
3	164
Глава пятая	179
1	179
2	189
3	204
Глава шестая	217
1	217

Конец ознакомительного фрагмента.

# Вильям Козлов

## Когда боги глухи

### Часть первая

### Четыре стороны света

*Я возвращаюсь к вам, поля моих отцов.  
Дубравы мирные, священный сердцу кров!  
Я возвращаюсь к вам, домашние иконы!  
Пуускай другие чтут приличия законы,  
Пуускай другие чтут ревнивый суд невежд;  
Свободный наконец от суетных надежд,  
От беспокойных снов, от ветреных желаний,  
Испив безвременно всю чашу испытаний,  
Не призрак счастья, но счастье нужно мне...  
Евгений Баратынский*

## Глава первая

### 1

Врач прикладывал к груди и спине щекочущую чашечку стетоскопа, заставлял глубоко дышать, задерживать дыха-

ние, присесть, потом приник к левой стороне груди волосятым ухом и надолго замер в неудобной позе. Вадим Казаков, скосив глаза, видел коричневую бородавку на шее врача, на макушке обозначилась розовая плешь, кустики волос у майора медицинской службы Тарасова завивались на шее в маленькие кольца, от него пахло лекарствами и одеколоном «Шипр».

Вадим перевел взгляд на окно, до половины замазанное белой масляной краской. В госпитальном парке возвышались черные деревья, на ветках набухли почки, между голыми вершинами ярко синел кусок неба. На ветке липы трепыхался на ветру изодранный бумажный змей с хвостом из мочала. Внимание Вадима привлекла синица, сидевшая на обломанном суку и раскрывавшая клюв, – песни ее не было слышно, но можно себе представить, как жизнерадостно заливается птица, зазывая к себе подружку...

Вадим вдруг вспомнил Люду Богданову, полную голубоглазую блондинку. Она носила длинную плиссированную юбку, телесного цвета капроновые чулки и блестящие резиновые боты. Люда была на шесть лет старше его, познакомились они в училище на танцах.

Старшина роты, увидев их в городе вместе, потом сказал, что она всю крутила любовь с Дьячковым, в прошлом году закончившим училище. В клуб приходили девушки, которые не прочь были выйти замуж за будущих летчиков, каждый выпуск уменьшал количество невест в Харькове, но вот го-

лубоглазой Люде Богдановой пока не везло, старшина говорит, что она в клубе – ветеран, проводила три или четыре выпуска, и разлетелись соколами ее бывшие кавалеры!

– Где же ты, голубчик, подцепил этот чертов ревматизм? – оторвавшись от его груди, ворчливо спросил врач. Лицо его было недовольным, расплющенное ухо порозовело.

– Не помню, – ответил Вадим.

– Позволь тебе, голубчик, не поверить, – хмыкнул Тарасов.

Вадим прекрасно помнил ту страшную осеннюю ночь, когда каратели загнали их в Гнилое болото. Строчили автоматы; тяжело ухали снаряды; разбрызгивая вонючую жижу, визжали осколки мин, злобно лаяли овчарки, но даже они не решались лезть в холодную воду. В довершение всего над партизанским лагерем разгрузились пять немецких бомбардировщиков. Тогда погибло много людей, убило наповал осколком Василия Семенюка – отчаянного командира разведки партизанского отряда Дмитрия Андреевича Абросимова.

Вадим и Павел просидели по горло в ржавой воде не один час, уже не чувствуя холода. Потом три дня искали своих. Случилось это в октябре 1943 года, а в конце ноября в Андреевку вступили передовые отряды Красной Армии.

Невыносимая боль прихватила его на третий день после освобождения. Сначала заняла опухшая голень, потом боль перешла в коленный сустав, поднялась к бедру, температура

подскочила до сорока, он искусал губы, чтобы не кричать от боли. Ефимья Андреевна поила его травяными настоями, закутывала в овчину, велела пластом лежать на голых горячих кирпичках жарко натопленной русской печки. И все-таки его положили в военный госпиталь в Климове. После лечения он надолго забыл про свой ревматизм. Медицинская комиссия при поступлении в авиационное училище не обнаружила ничего, и Вадим уже считал себя полностью здоровым человеком. И вот через пять лет, на последнем курсе, проклятая хвороба снова властно напомнила о себе. Ночью курсантов подняли по тревоге, моросил липкий холодный дождь. Одетые по-походному, с полной выкладкой, они сначала бежали вдоль железнодорожных путей, потом по команде ползли к холму. Шинели намокли, в сапогах хлюпало... На следующий день появилась боль в голени, потом в другой, скоро перебралась в коленный сустав...

– Придется тебя комиссовать, голубчик, – садясь за белый стол и открывая историю болезни, произнес врач. – У тебя наверняка был ревматизм, а это штука коварная! Спрячется куда-нибудь подальше и годами ждет своего часа... И обнаружить его очень трудно. Прошел же ты медкомиссию? Где то сильно простыл – ревматизм и дал себя знать. Полизал суставы, а потом укусил твое сердечко, голубчик. И заработал ты типичный ревмокардит. А знаешь, что это такое?..

Вадим его не слушал: страшное слово «комиссовать» потрясло его, лишило дара речи. Он смотрел в окно и вместо

одной синицы видел две, три... Этой осенью ему присвоили бы звание лейтенанта ВВС! Он так мечтал стать летчиком! Закончил седьмой класс, сдал экзамены на «хорошо» и «отлично», спасибо Василисе Прекрасной – это она его подготовила для поступления в училище. И теперь все насмарку из-за какого-то дурацкого ревмокардита?! Да он почти здоров, правда, иногда по вечерам сердце жмет, но это быстро проходит. Перед поступлением в училище строгая медицинская комиссия ничего у него не обнаружила, – разумеется, про перенесенный ревматизм он врачам и не обмолвился.

– Я здоровый, – выдавил он.

– Не всем же быть летчиками? – Не глядя на него, Тарасов что-то быстро писал в историю болезни. – Если будешь следить за своим здоровьем, проживешь сто лет... Никто тебя в инвалиды не записывает, но с летным училищем тебе, голубчик, придется распрощаться. Да ты не паникуй, Вадим, столько прекрасных профессий на свете! Найдешь еще дело себе по душе.

Потом было несколько бессонных ночей на госпитальной койке, он изучил высокий побеленный потолок и, закрыв глаза, помнил, где на нем какая трещинка, полоска, выбоинка... Решение ВКК было категоричным: «В мирное время не годен к военной службе, в военное – ограниченно годен к нестроевой». И вот он с медицинской карточкой, демобилизационными документами, билетом до Андреевки стоит с Людой Богдановой на перроне под большими круглыми ча-

сами огромного харьковского вокзала.

Глаза у Люды грустные, ветер колышет ее плиссированную юбку, к резиновому боту прилепился ржавый прошлогодний листок.

– Не получилось из меня графа Монте-Кристо, придется переквалифицироваться в управдомы...

– Зачем в управдомы? – принимает его слова за чистую монету девушка. – Иди лучше в артисты.

– В артисты? – ошарашенно смотрит он на нее.

– Ты хорошо Есенина читаешь, – улыбается она. – У тебя выразительное лицо, приятная улыбка. Вот только нос толстоват. Может, еще открытки с твоим портретом будут в киосках продавать...

Когда-то в партизанском отряде под хоровую песню «Было у тещи семеро зятьев... Ванюшенька-душенька любимый был зятек...» Вадим чертом выскакивал в длинной красной рубахе, подпоясанной веревкой, и начинал лихо отплясывать на полянке. Но когда вечерами запевали у костра в лесу, на него шикали: мол, не вылезай, фальшивишь... А петь ему нравилось. Бывало, Абросимов первым заводил песню, а остальные подхватывала. Где сейчас Павел? В Андреевке или тоже куда-нибудь подался? Он мечтал стать учителем, а Вадим уговаривал его вместе поступать в авиационное училище...

– Вадик, скажи, ты женился бы на мне? – спросила вдруг Люда.

– Нет, – рассеянно ответил тот, думая о своем.

Голубые глаза Богдановой потемнели от обиды, она секунду молчала, потом швырнула ему в лицо:

– Чего же ты тогда ходил ко мне? Слова красивые говорил? Все это вранье?

– Ты мне нравишься...

– Хоть бы из вежливости пригласил поехать с собой, – сказала она. – Конечно, я бы никуда не поехала, но...

– Я и сам, Людочка, не знаю, куда мне ехать, – вырвалось у него. – Или с милым рай и в шалаше?

– Моя подружка вышла замуж за курсанта вашего училища, пишет, что он уже капитан, у них родились двойняшки...

– А почему бы мне действительно на тебе не жениться? – произнес он, задумчиво глядя на нее.

– Женись, – смягчилась она. Видно, это слово магически подействовало на нее.

– Поедешь со мной в Андреевку?

– Куда-куда?

– Есть такой небольшой поселок, со всех сторон окруженный бором, там растут белые грибы, черника, малина... Наймусь в лесничество, будем жить на берегу синего озера, приручим лося, будем зимой на нем кататься...

– Из Харькова в какую-то Андреевку? – нахмурилась Люда. – Ты что, меня за дурочку принимаешь?

– Ты умная, Люда, – усмехнулся Вадим. – Плюнь на меня! Еще найдешь ты своего легчика и улетишь с ним аж на самые

Курильские острова!

– Если бы ты был летчик... – мечтательно улыбнулась она. – Другая моя подруга, Варя, тоже вышла замуж за летчика.

– Летчик... воздушный извозчик! Знаешь, кем я буду?

– Знаю. Управдомом, – насмешливо отрезала Люда.

– Милиционером! – вдохновенно заявил он. – Буду дежурить в городских парках и выслеживать парочки, которые грешат на скамейках, буду безжалостно их штрафовать! Молодые люди должны венчаться в церкви, как говорит моя бабушка, и спать в постелях...

– Ты на что намекаешь? – холодно спросила Люда.

– А может, мне пойти в попы? – невинно заглянул ей в глаза Вадим. – Отпущу длинные волосы и бороду, стану венчать молодых, крестить в купели новорожденных, отпевать покойников... А ночью читать у гроба Библию и заучивать псалмы... – Он поднял глаза к небу: – Раба божья Людмила, ты веришь в господу бога?

– И я с этим человеком потеряла целый год! – с сожалением посмотрела на него девушка. – У тебя и на грош нет серьезности.

– Встань на колени, Людмила-аа-а, и я отпущу тебе грехи-и твои-и-и... Аминь!

– Ну и болтун! – Девушка бросила на него презрительный взгляд, потом повнимательнее взглянула на него: – Вадим, ты никак плачешь?

– Я? Плачу?! – неестественно громко рассмеялся он. – Пылинка от паровоза попала в глаз... Чтобы я плакал-рыдал? Такого никогда еще не бывало, женщина! Из меня, как из камня, слезу невозможно выдавить...

Он яростно тер рукавом зеленого кителя глаза, однако закусенная нижняя губа заметно дрожала, а глаза предательски блестели влагой.

– Я ни о чем не жалею, Вадим, – почуяв женским сердцем его дикую неустроенность и тоску, мягко заговорила девушка. – Мне было с тобой очень хорошо, весело... У тебя все еще устроится в жизни. Ты напишешь мне, да? Напишешь?

Высоко в небе прочертил кружевную белую полосу реактивный самолет. Вадим долго смотрел вверх, серебряный крестик исчез, растворился в глубокой синеве, а полоса ширилась, расплзалась. Вдоль нее, медленно взмахивая крыльями, летел клин каких-то птиц, то ли гусей, то ли гагар.

– Ты хотела бы быть птицей? – взглянул на девушку Вадим. – Тебе когда-нибудь хотелось улететь далеко-далеко? Улететь и не возвращаться?

– Птицы ведь возвращаются...

– То птицы... – снова громко рассмеялся Вадим. – Птицы подчиняются своему инстинкту, а человек должен уметь подавлять первобытные инстинкты.. – Он перевел взгляд на медленно приближающийся по второму пути маневровый. – Как ты думаешь, кто сильнее – я или эта железная громадина?

И прежде чем девушка успела ответить, Вадим спрыгнул на пути, перебежал на второй путь и, широко расставив ноги в кирзовых сапогах, в упор уставился на заслоняющий всю перспективу локомотив.

– Вадим! – вскрикнула Люда, но он даже головы не повернул.

Зашипели тормоза, паровоз раз дернулся, другой и с лязгом остановился. Машинист, до половины высунувшись из будки, грозил кулаком и ругался, белый пар медленно окутывал переднюю часть паровоза, Вадима. Машинист уже спускался с подножки, когда Вадим ловко вспрыгнул на перрон, схватил девушку за руку и бегом увлек за вокзал. Люди оглядывались на них. У Люды было белое лицо, руки безвольно повисли.

– Ты сумасшедший, – придя в себя, сказала она. – Он мог раздавить тебя!

Он смотрел мимо нее и все еще видел приближающуюся лоснящуюся черную громаду паровоза, наклонную красную решетку перед передними колесами, струйки белого пара и блестящую фару у трубы. И еще врезалась в память длинноногая масленка, стоявшая в выемке у правого буфера.

– Страшно было? – заглядывала в глаза девушка.

– Что это на меня нашло? – растерянно проговорил Вадим. – Страшно, говоришь? Не знаю... Глупо это. И машиниста напугал...

– Вадим, а где твой чемодан?

– Чемодан? – непонимающе взглянул он на нее. – А это был не мой чемоданчик...

– Чей же?

– Вспомнил старую песню, – улыбнулся Вадим. – Где же мой чемодан с сухим пайком на три дня?

Они вернулись на перрон, к той самой скамейке, у которой стояли. Чемодана не было.

– Украли! – ахнула Люда. – Вот люди! Надо в милицию заявить.

– А вот и мой поезд, – кивнул на приближающийся пассажирский Вадим.

– Вот, возьми, – торопливо сунула ему в руку потертый кошелек девушка. – Тут немного, но на дорогу-то хватит.

– Если не найдешь своего летчика на земле или в небе, то приезжай ко мне в Андреевку, – сказал Вадим.

Лишь когда пассажирский тронулся, девушка вспомнила, что адрес не взяла. Она было бросилась вслед за уплывающим вагоном, но тут же остановилась, смахнула платком слезу, помахала рукой стоявшему рядом с проводницей Вадиму и прошептала:

– Прощай...

А он еще долго, выгнувшись дугой, свешивался со ступенек и что-то кричал, но ветер относил его голос в сторону, а нарастающий железный грохот все заглушал.

Вадим в сиреневой майке и сатиновых спортивных шароварах колот у сарая дрова. Водружал на широкий чурбак основую чурку и, размахнувшись колуном, раскалывал ее, как ядреный орех. Когда получалось с первого раза, он улыбался, если же колун увязал в неподатливой древесине, чертыхался и бил кулаком по топоричу, высвобождая его. Черные волосы Вадима спустились на высокий влажный лоб, светло-серые глаза с зеленоватым ободком блестели. Ему нравилось колоть дрова, слушать, как со звоном разлетаются от мощного удара поленья, вдыхать терпкий запах сырой древесины.

Утреннее солнце ярко светило, но было еще прохладно. В двух скворечниках поселились скворцы, они то и дело озабоченно улетали и скоро возвращались, принося в новые домики, прибитые к липам у забора, сухие травинки, перышки. Вадим, как только приехал в Андреевку, первым делом сколотил скворечники – об этом он подумывал в военном госпитале, слушая на железной койке скворчиные песни.

Вадим Казаков принадлежал к породе тех счастливых людей, которые не умеют подолгу терзаться и расстраиваться. Не любил он и паниковать. Он мечтал стать летчиком еще там, в партизанском отряде. Для него был праздником каждый прилет самолета с Большой земли. Мальчишка не отхо-

дил от пилота, ловил каждое слово. Ему казалось, что это люди особенные.

Живя в землянке, Вадим очень тосковал по свободе, простору. А что может быть свободнее и просторнее чистого неба?..

Потом Харьков, авиационное училище, первые прыжки с парашютом, строевая и караульная службы, краткосрочные увольнительные в город, когда курсанты зубным порошком начищали бляхи ремней и латунные пуговицы. А каким франтом в летной форме приезжал он к родителям в Великополь!..

Еще в госпитале он стал внушать себе, что жизнь не кончается, верно говорит врач, что на свете много разных профессий. Неужели он себя не найдет на «гражданке»? Помогали книги, которые он залпом прочитывал, вспоминался партизанский отряд, где приходилось каждый день рисковать жизнью. Тогда не думалось о смерти, хотелось дожидаться победы и увидеть над головой чистое солнечное небо без гула моторов бомбардировщиков, белых вспышек зенитных снарядов, багрового зарева над бором, где грохотала артиллерия. «Гражданка»... Это значит не вскакивать чуть свет по команде дневального, не становиться в строй, не отдавать честь офицерам, не стоять с автоматом в карауле.

Неужели он так испугался «гражданки», что чуть было не попал под паровоз? Что его тогда толкнуло на этот дикий, безумный поступок? Насмешливый тон Люды Богдановой?

Или злость на свою болезнь? Случалось, и раньше Вадим совершал необдуманные поступки, рискуя головой. Хотелось приятелям и, главное, самому себе доказать, что он не трус, способен на подвиг. Но какой же это подвиг – лезть под приближающийся паровоз?! Не затормози вовремя машинист – и его, Вадима, уже не было бы на белом свете... И все-таки где-то в глубине души он верил, что в самый последний момент соскочил бы с рельсов. Уж если его пощадила немецкая пуля, то какой смысл погибнуть по собственной воле? Вспоминая порой о пережитом, Вадим ненавидел себя за тот случай на харьковском вокзале. Может, тогда он впервые понял, что жизнь – это слишком драгоценная штука, чтобы вот так ею попусту рисковать...

Боль в суставах давно прошла, но появилось новое, незнакомое ощущение собственного сердца: оно покалывало, громко стучало ни с того ни с сего, а иногда будто останавливалось. Вот и сейчас, намахавшись топором, он чувствовал легкие уколы, будто кончиком иглы прикасаются к сердцу. Это неприятное ощущение вызывало досаду, однако он не бросал колун и, лишь когда в груди застучало так, что он услышал, опустил его и с минуту стоял среди наколотых поленьев, прислушиваясь к себе. Неужели это теперь на всю жизнь? Майор Тарасов сказал, что можно спортом заниматься, лучше всего настольным теннисом, а вот бег на длинные дистанции не рекомендуется. И действительно, после хорошей пробежки он стал задыхаться и неприятная одышка еще

долго не отпускала. И все равно он верил, что справится с недомоганием. Ему всего двадцать лет! Два спортивных разряда, полученные в училище. Черт побери, думал ли он когда-нибудь раньше, что в груди есть такой сложный орган, как сердце? Да и кто думает об этом, когда сердце здоровое? Никто его не ощущает, будто его и нет в груди... А он, Вадим, теперь постоянно будет ощущать свое сердце, и как ни обидно, но придется с этим смириться.

Покальвание прекратилось, и он с некоторой осторожностью глубоко вздохнул раз, другой. Эти покальвания не вызывали у него страха, наоборот – досаду, злость на самого себя: почему именно с ним приключилось такое? Тарасов сказал, что не только бегать нельзя, но и курить и выпивать... Вадим не курил, в партизанском отряде начал было баловаться, но, кроме тошноты и головной боли, ничего не испытывал от курения. А Павел Абросимов втянулся и курил наравне со взрослыми, иногда даже сухие осиновые листья. Выпивка тоже не доставляла радости: головная боль по утрам, тошнота до позеленения в глазах, не говоря уж о том, что какая-то подавленность не проходила иногда день-два. Казалось, он совершил нехороший поступок, ему было стыдно смотреть людям в глаза, хотелось забраться куда-нибудь подальше от всех и казнить себя за эту глупость.

На забор взлетел рябой, с золотистым хвостом петух и горласто прокукарекал, на него, щуря узкие глаза, смотрела пригревшаяся на досках серая кошка, со стороны Шлемова

нарастал шум прибывающего товарняка. Легкий ветер принес из леса запах смолистой хвои, ржавых листьев и прошедшего дождя. И этот волнующий запах весны вдруг наполнил Вадима чувством необъяснимого счастья, хотя радоваться, казалось бы, совсем нечему. Счастье распирало грудь, хотелось сорваться с места и, не обращая внимания на предостережения майора Тарасова, помчаться по лесной тропинке вдоль дороги в Кленово... Лес еще голый, далеко просвечивает, – наверное, видно будет, как меж сосновых стволов замелькают бурые вагоны товарняка...

– Тебе бы, Вадик, бороду – и был бы ты вылитый дедушка Андрей Иванович, – вывел его из задумчивости ласковый голос соседки Марии Широковой. Она уже давно смотрела из-за ограды на юношу.

– Пишет Иван? – спросил Вадим.

От Ефимьи Андреевны он узнал, что Иван служит на Балтике, а Павел Абросимов в этом году будет поступать в Ленинградский университет. С Павлом они изредка переписывались, но о демобилизации Вадим не написал ему. Он даже родителям ничего не сообщил о неожиданной перемене в своей судьбе. Из Харькова прямым ходом прибыл в Андреевку. Единственный человек, которому ему захотелось рассказать все, была бабушка Ефимья Андреевна. Шлепая деревянной ложкой на черную сковороду жидковатое тесто, она говорила:

– Димитрий мой – военный, батка твой был военным, сам

мальчонкой пороху в отряде понюхал, вон боевые медали заслужил... А не судьба, значит, сынок, быть командиром. Да и ладно. Оглянись кругом – сколько эта война зла-то земле принесла? Кто же будет все порушенное подымать? У нас, в Андреевке, и то с утра до вечера топоры стучат, а что во всей Расее-матушке деется? Была бы голова да руки, а дела тебе на нашей земле всегда найдется...

Широкова рассказывала про морскую службу своего Ванюшки, сетовала, что на флоте подолгу служат, а без мужских рук тяжело двум бабам, дочь работает в больнице санитаркой, корову так после войны и не купили, зато держат пару коз, – если Вадим хочет, она, Широкова, принесет вечером молока...

Вадим отказался: он козье молоко не любил. Болтовня соседки отвлекла его от мрачных мыслей, снова внезапно нахлынувших вместе с гулкими ударами сердца.

Андреевка казалась вымершей. Некогда шумный, всегда наполненный голосами, дом Абросимовых опустел. Маленькую комнату бабушка сдавала квартирантам, сейчас у нее жила молодая акушерка, но Вадим ее еще не видел: уехала на какие-то курсы в Климово.

– На побывку сюда приехал, бабушку навестить? – спросила Широкова.

– Скворцов послушать, – улыбнулся Вадим. – Наши скворцы самые голосистые.

– Говорили, ты на летчика пошел учиться? – не отставала

дотошная соседка, – Я про то и Ванюшке своему отписала.

– Артист я, – ответил Вадим.

И вдруг подумал: а почему бы ему не стать артистом? Все говорили, что у него к этому способности. В училище он тоже участвовал в художественной самодеятельности, читал со сцены басни Крылова, играл в драматических постановках, даже пел в хоре, правда, недолго: сначала его поставили на задний ряд, а потом вообще попросили со сцены... Драматическому артисту необязательно петь, он произносит монологи, подает реплики, участвует в мизансценах... Все эти слова, которые он произносил про себя, завораживали, волновали. Была не была! Приедет в Великополь, пойдет в театр и попросит главного режиссера, чтобы он его послушал.

– В роду Абросимовых артистов вроде не было...

– Вот и будут, – уже увереннее заявил Вадим. – Может, мои портреты в киосках будут продавать... Хотите, деда Тимаша изображу?

Вадим разлохматил черные волосы, сгорбился, закричал, зашлепал губами. Поблескивая на соседку озорными глазами, прошелся до калитки, сделал вид, что пьет из горлышка, вернулся заплетающей походкой, сипло затянул:

– Хазьбулат удалый, востра сабля-я твоя-я-а... Не болела бы грудь и не ныла душа-а-а...

– И верно, Тимаш! – рассмеялась тетя Маня. Еще нестарое лицо ее оживилось, черные глаза повеселели. – Может, тебя, Вадя, будут в кино снимать?

– Ну, до кино еще далеко, – ответил Вадим. – Наверное, учиться надо...

Учиться на артиста ему не хотелось, – где-то читал, что некоторые нынешние знаменитости пришли на экран прямо с производства. Работали на заводах, фабриках, участвовали в художественной самодеятельности, а потом стали знаменитыми артистами.

– Надо же, артист! – улыбалась соседка. – Андрей Иванович смолоду, бывало, подвыпивши начнет чудить, так люди со смеху покатывались! Говорю, Вадя, весь ты в деда, царствие небесное, вот был человек!

Вадим от родственников слышал, что соседка – он называл ее тетя Маня – не давала проходу Андрею Ивановичу: бегала к путевой будке, чтобы перехватить его во время обхода участка, поджидала за клубом, когда он возвращался с охоты, не отходила от забора, когда Абросимов работал во дворе. Муж ее, Степан Широков, отравленный газами в первую мировую, рано умер, а Андрей Иванович с девичьих лет ей был по сердцу. Все удивлялись: как такое терпела Ефимья Андреевна? Ни разу не устроила соседке скандал, не обозвала ее нехорошим словом, да и мужа никогда не попрекала. Правда, что у нее было на душе, про то никто не знал.

Мария Широкова и сейчас выглядела не старухой, хотя лет ей и много, наверное, за пятьдесят. Черные хитрые глаза молодо блестят, не огрузла, вот только руки от сельской работы покраснели да потрескались. Из-под ватника выгляды-

вала теплая морская тельняшка, на ногах заляпанные грязью резиновые сапоги.

– Тетя Маня, не продадите мне тельняшку? – попросил Вадим.

– Родный ты мой, – заморгала глазами соседка, – тельняшку? Да я тебе и так дам, Ванечка три штуки прислал...

– Вот спасибо! – обрадовался Вадим, хотя и сам не знал, зачем ему вдруг понадобилась тельняшка, – слава богу, не желторотый юнец, как говорится, без пяти минут был бы офицер... Просто вспоминалась юность – широченные клеши, тельняшки, наколки...

Он машинально бросил взгляд на тыльную сторону ладони, где был выколот аккуратный самолетик. Раньше он гордился наколкой, выставлял ее напоказ, а на последнем курсе авиаучилища старался прятать под рукав гимнастерки или кителя. Сделал глупость, теперь всю жизнь расплачивайся! Впрочем, не у него одного наколка, – помнится, Иван Широков выколлот себе на предплечье якорь, обвитый змеей, а Павел Абросимов не поддавался дурному поветрию, хотя приятели и насмеялись над ним: дескать, боли испугался?.. Самолетик, конечно, можно свести, но рубец все равно останется, – стоит ли, раз совершив глупость, второй раз ее повторять?..

– Зайдешь, Вадя, или принести тебе тельняшку?

– Может, вам чего по дому сделать? – предложил Вадим. – Дров поколоть или забор подправить?

– Крыша в сенях течет, родной, – пригорюнилась Широкова. – И толь есть, да вот залатать некому, ох как без мужика-то тяжело! Все сама, все сама...

Увидев на крыльце Ефимью Андреевну, – Вадим знал, что они недолюбливают друг друга, – сказал:

– Вечером почию, вернусь с кладбища и почию!

– Щи на столе, – пригласила обедать бабушка. – С чем будешь есть блины – с маслом или со сметаной?

– Как здоровычко, Ефимья Андреевна? – осведомилась Мария Широкова.

– Охапку дров принеси, – даже не взглянув в ее сторону, распорядилась бабушка.

Когда она скрылась в сенях, Широкова поправила на голове платок, завздохала, покачала головой:

– Туга стала на ухо Ефимья-то... Все война проклятая! Бомбы-то падали людям чуть ли не на головы, – а сама зорко вглядывалась в Вадима: не смекнул ли он, что она для Ефимьи Андреевны пустое место?

– Дед Тимаш говорит: «Чаво надоть – усе сечет, а чаво не надоть – ни гу-гу», – изобразил старика Вадим.

– Андрей Иваныч тоже любил подкузьмить Тимаша, – заливалась мелким смехом соседка. – Кажись, в масленицу, в тот год, как попа на поминках споили, обрядился в саван, козлиные рога к голове приделал и к деду ночью пожаловал... А тот хоть бы чуточку испужался, говорит: «За душой притащился? Так бери ее задешево: кажинный день на том

свете выставляй мене по бутылке беленькой...»

Вадим дальше не стал слушать, набрал дров и пошел в дом, где на столе, застланном старой клетчатой клеенкой, белела на тарелке аппетитная горка блинов, которые так умела печь лишь Ефимья Андреевна.

### 3

Яков Ильич Супронович, сгорбившись, сидел на низенькой деревянной скамейке у своего дома и дымил самосадам, на ногах серые подшитые валенки, на плечи наброшен зеленый солдатский ватник, нежаркое солнце припекало большую лысину, глубокие морщины и густые седые брови делали его лицо суровым и печальным. Желтые щеки обвисали у подбородка, под бесцветными глазами в красных прожилках набрякли мешки. Нездоровый вид был у Якова Ильича. Он задумчиво смотрел на Тимаша, который ловко строгал рубанком на верстаке белую доску. Курчавая стружка лезла из рубанка и, закручиваясь в кольца, сама по себе отрывалась и падала к ногам старика. Тимаш в полосатом, с продранными локтями пиджаке и широких солдатских галифе наступал на хрустящую стружку сапогами. По привычке он что-то рассказывал, щурясь на ослепительную доску, ласково проводил по обструганному месту шершавой коричневой ладонью. Несколько готовых досок были прислонены к стене, на одной из них грелась на солнце крапивница.

Яков Ильич не слушал старика, он думал свою тяжкую думу. От крепкого самосада першило в горле и пощипывало глаза. Врач сказал, что курить вредно, а что сейчас Якову Ильичу не вредно? Жирное и сладкое есть нельзя, выпить – упаси боже, спать на левом боку – сердце жмет... Вызывали в Климове, в райотдел НКВД, вот и жмет сердце. Сколько дел натворил непутевый Ленька! А теперь батьке покоя не дают, спасибо, что самого не посадили... Наверное, пожалели по старости, да и старший, Семен, отличился в партизанах, орденом награжден, – тоже засчиталось... Двух сыновей вырастил, и оба такие разные, а когда-то рядышком бегали по питейному заведению с подносами и улыбались клиентам... Когда это было?..

– .... Ясное дело, утек с басурманами на чужбину твой Ленька-то, разбойник, – говорил Тимаш. – Че ему тут было делать? Сразу бы к стенке, а то и в петлю. Он и сам был лют на расправу. Сколько раз грозился меня на сосенке вздернуть... Ты уж прости, Яков Ильич, а младший сынок у тебя уродился говенный. Не чета Семену. В одном гнезде, а птенцы разные... Может, Леньку кукушка серая тебе подкинула?

– Какая кукушка? – кашлянув, спросил Супронович.

– Дмитрий-то Андреич локти кусал, что Леньку упустили... И Семен твой толковал: мол, рука не дрогнула бы родному брату пулю промежду глаз вlepить!

– Ну ты, борона без зубьев! – прикрикнул Яков Ильич. – Борони, да знай меру. Про кукушку какую-то выдумал.

– Ты, Яков Ильич, на меня не покрикивай, – ухмыльнулся в бороду Тимаш, продолжая строгать. – Было время, боялись тебя, а теперь ты – пугало огородное, сиди на завалинке, как копна прошлогодняя, и помалкивай себе... Греет солнышко – ты и радуйся жизни, а горло, милок, не дери. Тебя и несмышленные ребятишки не боятся. Кто ты теперь? Родной отец врага народа. Моли бога, что Советская власть тебя в живых оставила. Ленька Ленькой, а у тебя тоже рыльце в пушку... Кто одежей убитых да повешенных торговал? Покойничков-то я, милок, в землю зарывал, так они все были голенькие, в чем мать родила. Твой Ленька-то приказывал мне раздевать их, – понятно, кто лучшей был одет, – мол, неча добру пропадать... Может, оно и верно, но дело-то это греховное, не христианское. А вспомни, как ты перед зелеными и черными мундирами на задних лапках стоял. Небось оттого и согнуло твою спину, что много кланялся. Хучь ты и прожил всю жизнь в достатке, не завидую я тебе, Яков Ильич: на старости-то лет сидишь у разбитого корыта, люди здоровкаются, правда, с тобой, но то, что ты оккупантам прислуживал, до смерти не простят. Все говорили, мол, умный ты, хитрый, а в чем же твоя хваленая хитрость да ум? Дети от тебя отвернулись, внуки стыдятся твоей фамилии, да и богатство твое – фью! – накрылось... Копил, копил, а такие же бандюги, как твой Ленька, и ограбили. Когда прижали к стенке и нож к горлу приставили, небось сам тайничок с золотишком да камнями показал, а?

Жестокие слова старика камнями падали на лысую голову Супроновича, и что ни слово – истинная правда. И никогда не думал Яков Ильич что у правды такой зловещий оскал, как у смерти. Будь она проклята, эта правда, вместе с Тимашем! И какого дьявола он позвал его стол для летней кухни мастерить! Да разве раньше этот пьянчужка посмел бы такое ему говорить? Сколько раз из питейного заведения сыновья выкидывали Тимаша, как мешок с гнилой картошкой, на двор! И за человека-то его Яков Ильич не считал, а вот он жив-здоров, похваляется, что за какие-то заслуги перед партизанами медаль должен получить...

От досады аж дыхание перехватило, на глазах выступили злые непрошенные слезы... Больше всего жаль драгоценностей. Всю жизнь копил золото, кольца с камнями, перстни, серьги, знал, что эти вещи всегда и везде будут в цене. Бумажные деньги – тьфу! Меняется власть – меняются и деньги, а золото не ржавеет и при любой власти в чести. Да и сама мысль, что у тебя спрятано золотишко на черный день, согревала сердце. Никто, кроме Леньки, не знал про богатство. А где оно схоронено, не ведал и он. И вот перед самым приходом Советской Армии нагрянули к нему ночью два незнакомых парня, ни одного из них в Андреевке раньше не встречал. В руках – пистолеты, на шее – автоматы. Не стали ничего шарить, трогать, а вытащили Якова Ильича из теплой постели и прямо спросили: где, мол, клад схоронен. Совал им деньги – и советские, и оккупационные марки, –

разводил руками: мол, берите все, что хотите, а клада нет у меня!.. Христом-богом клялся. И тогда два дюжих парня привязали его к стулу и стали брючным ремнем душить, потом раскалили на керосиновой лампе металлическую вилку и предупредили, что, если не скажет, вставят ему ее тупым концом в то самое место, в которое раньше кол забивали... Да, эти изверги не собирались шутить!.. И Яков Ильич повел их в дровяной сарай, достал из поленицы березовую чурку, вытащил пробку, и посыпались на земляной пол царские золотые монеты, которые он любовно называл «рыжиками». Так и этого им показалось мало, потребовали камня... Отдал и заветную шкатулку Яков Ильич.

Не надо было долго голову ломать, чтобы догадаться, кто их навел. Сын, Ленька... Да и по тому, как привычно и деловито принялись его пытаться парни, сразу сообразил Яков Ильич, что сын их подослал, по ухваткам видно, что каратели... И то, что родной сын на такое пошел, больше всего угнетало Супроновича. И дураку понятно, что не взял бы он в могилу свое богатство, детям бы и внукам оставил... Да, видно, Ленька не собирался сюда больше возвращаться, вот почему и решился на черное дело против родного отца... И впрямь, не подлая ли кукушка подкинула его в гнездо?..

– ... А как помер наш Андрей Иванович Абросимов? – уже о другом говорил неугомонный Тимаш. – Ерой! В первую мировую Георгия заслужил, а во вторую Отечественную посмертно орденом Красного Знамени награжден. Сам

в газете читал. Немцы-то думали, он им старостой служит, а Андрей с партизанами был заодно. Кто мы с тобой по сравнению с им? Так, мелочишка... Повесить твой Ленька с Бергером его хотели, а он и тут сам себе смерть геройскую выбрал: пал от вражьей пули да и с собой еще кое-кого на тот свет прихватил! А могилу его я так заховал, что никто не нашел, Ленька-то пытал меня: куда я его дел? Набрехал, что в овраг сгрузил, как было велено, а голодные собаки да волки, видать, все растащили... Ты в кутузке сидел в Климове, когда Андрея Ивановича торжественно захоронили на кладбище, говорят, памятник поставят, об этом и сын его, Дмитрий, хлопочет.

Яков Ильич тяжело поднялся со скамейки, подошел к верстаку, потрогал обструганные доски – гладкие и теплые, как атлас.

– Куда столько настрогал? – сказал он, щурясь на солнце. – Тут, гляжу, мне и на гроб хватит...

– Чиво на тот свет торопишься? – вздохнул Тимаш. – Не печалься ты, Яков Ильич, за свое сгинувшее богатство, ей-богу, без него легче на свете живется. Возьми меня: за душой больше сотняги никогда не бывало, а обут, одет, сыт, пьян и нос в табаке! Деньги да добро требуют много заботы, а мне она ни к чему, эта забота. Хожу, людей смешу, слушаю птиц, гляжу на облака – и жизнь мне кажется очень даже замечательной. А сколь тебя знаю – и улыбки-то на твоём лице никогда не видал, все суетишься, бегаешь, считаешь, тянешь

все к себе, как паук, а и тот ведь одной-двумя мухами сыт. В народе-то говорят: «Не тот беден, кто мало имеет, а тот, кто много хочет»...

– Кого учишь жить, дурак ты беспорточный? – без злости покачал головой Яков Ильич. – Да будь бы я таким, как ты, лучше бы и на свет божий не родиться! Ты поганым кустом в овраге всю жизнь прожил и солнышка-то никогда толком не видел! Гриб ты поганый, мухомор, а меня учишь? Деньги-то к таким, как ты, голоштаным, не прилипают, отскакивают от рук. Ты и сотняги не зарабатывал, а я, темнота несусветная, тыщи в руках держал! Вот на этой ладони... – Он вытянул вперед жирную руку. – Брильянты сверкали! Царские золотые червонцы переливались...

Тимаш даже строгать перестал, с интересом уставился на Супроновича, к седой курчавой бороде пристало золотистое колечко стружки.

– Гляди каков, а? – проговорил он. – Без зубов, а кусаешься! Ладонку-то я твою вижу, Яков Ильич, а брильянтов да золотых червонцев чтой-то нет. Где они? Были, да сплыли, а ты с той поры аж весь почернел от тоски по своему богатству. Глаза бы твои не смотрели на белый свет! И утром и вечером стонешь да зубами скрипишь от жадности своей да злости... А я кажинному деньку радуюсь, птицами люблюсь да людей люблю. Даже ты, старый скупердяй, меня не раздражаешь, жалею я тебя! Вот и посуди, кто ж из нас двоих веселее живет – ты иль я?

Яков Ильич молча смотрел на него. Лысина еще больше побагровела, глаза тяжело ворочались в глазницах.

– Знаешь че, Яков? – продолжал Тимаш. – Я тебе из оставшихся досок гроб одно загляденье смастерю и ни копейки за это не потребую...

Яков Ильич открыл было рот, но вдруг ухватился рукой за верстак, лицо его побелело.

– Будь он трижды проклят, кукушкин сын! – заскрежетав зубами, проговорил он. – Не будет ему счастья и на чужбине... Вор! Вор! Вор!

– Гляди, как свое даже сгинутое добро за душу человека держит, будто костлявая за горло, – подивился дед Тимаш, принимаясь за работу. – Ты, Яков Ильич, держи дурную кровь в узде, ненароком в башку ударит при твоей-то комплекции... тогда и впрямь придется из этих досок не стол тебе сколачивать, а последнюю сосновую хоромину...

– Бросай, Тимаш, это дело, – усталым голосом произнес Супронович, глаза его погасли. – Подыдемся наверх, там у меня бутылка водки и закуска найдется.

– Яков Ильич, золотой мой, дай бог тебе здоровья! – Так весь и засветился Тимаш. – Почитай, четыре десятка лет тебя знаю, вон сколько, – он повел рукой вокруг, – на тебя наработал, а сидеть с тобой за одним столом и водку пить ни разу не доводилось! Вот уважил так уважил!

И не понять было, всерьез все это говорит старик или насмехается над Супроновичем...

# Глава вторая

## 1

Высокий, широкоплечий юноша в голубой спортивной футболке со шнурком на груди вместо пуговиц и зеленых мятых бумажных брюках рано утром сошел в Андреевке с пассажирского, прибывшего из Климова. Лучи летнего солнца освещали пустынный перрон, ярко алела фуражка дежурного, в пристанционном сквере щебетали птицы. Через руку у юноши была переброшена коричневая куртка, вещей никаких не было. Насвистывая, он пошел к водонапорной башне, над которой кружили стрижи. Присев на пустой ящик из-под гвоздей, достал из кармана широких брюк пачку «Беломора», закурил, глаза его были прикованы к дому Абросимовых. На окнах играл отблеск солнца, дверь в сени была приотворена, скоро на крыльце показалась Ефимья Андреевна. Она покликнула кур, высыпала из чашки на землю крупу и снова ушла в дом. На дворе Широковых бегал по лужайке серый щенок, тыкался носом в забор, повизгивал. Раздался раскатистый и гулкий, как выстрел, хлопок – и сразу в домах захлопали двери, заскрипели калитки, хозяйки выгоняли коров, коз, овец на улицу, а в конце ее показался пастух в зеленой гимнастерке навыпуск. Длинный кнут через плечо воло-

чился по пыли. «Эге-ей! Вы-гоня-яй!» – звонко выкрикивал он и, с силой пустив прямо с плеча вперед длинное кольцо ременного кнута, издавал оглушительный хлопок, заставляющий животных прибавлять шаг.

Когда стадо пропылило в сторону речки Лысухи и снова стало тихо, юноша бросил окурок в пожарный ящик с песком и направился по главной улице. У сельпо он повернул налево – чувствовалось, что он здесь хорошо ориентируется. Чем ближе подходил он к дому Александры Волоковой, тем шаги его становились медленнее, скоро он остановился у дома напротив, прислонился к березе и стал пристально вглядываться в окна. Занавеска на окне шевельнулась, выглянуло белое женское лицо, немного погодя дверь распахнулась, и на крыльце показалась хозяйка. Сложив ладонь лодочкой, она взглянула на солнце, всплеснула руками и бегом бросилась к хлеву, примыкающему к дому. Выпустив корову, схватила прут и погнала ее к калитке. Александра была в ситцевом платье, поверх накинута вязаная кофта, взлохмаченные русые волосы спускались на полные плечи. Хмурясь, она торпливо прошагала мимо юноши, во все глаза смотревшего на нее. Юноша резко отвернул лицо, сделав вид, что смотрит на ласточек, усевшихся на телеграфные провода. Впрочем, Александра вряд ли обратила на него внимание: она спешила догнать стадо, несколько раз ударила косящуюся на нее фиолетовым глазом корову прутом.

Юноша, воровато оглянувшись, проскользнул в распахну-

тую калитку, поднялся на крыльцо и исчез в доме. Появился он через несколько минут, торопливо зашагал по тропинке. Навстречу ему попала сука с отвисшими сосцами и печальными глазами. Сука отскочила в сторону, уступая ему дорогу, и негромко тьякнула, но юноша ничего не замечал, глаза его были широко распахнуты, на губах играла легкая улыбка. Он снова вернулся на станцию, уселся в сквере на низенькую скамейку и достал из кармана несколько фотографий; перекладывая одну на другую, долго разглядывал их. На фотографиях были изображены Александра Волокова, ее второй муж Григорий Борисович Шмелев, светловолосый глазастый мальчик... Юноша, наглядевшись на фотографии, стал одну за другой рвать на мелкие клочки, самую последнюю, где была изображена Александра, поколебавшись, снова сунул в карман. Сложив глянцевитые обрывки в кучу, поджег; когда от них остался тлеющий пепел, услышал недовольный голос за спиной:

– Ты что тут, пожар хочешь наделать?

Перед ним стоял дежурный, кожаным чехлом с флажками он похлопывал себя по синей форменной брючине.

– Вылез по ошибке не на той станции, – улыбнулся юноша. – Вот и загораю тут... Скажите, когда следующий поезд на Ленинград? – Он вскочил со скамейки и старательно затоптал пепел.

– На Ленинград! – хмыкнул дежурный. – Садись на товарняк, он тут сейчас сделает остановку и переждет встречный,

и ездай до Климова, а оттуда на Ленинград много поездов.

– Вот спасибо! – обрадовался юноша. – А то я... – он кивнул на пути, – уже хотел по шпалам.

Дежурный, услышав паровозный гудок, пошел на перрон, юноша за ним. Прибыл товарняк. Перед самым отходом, когда уже свистнул кондуктор, юноша вскочил в тамбур, уселся на верхнюю ступеньку. Перед ним проплыл высокий забор, затянутый сверху колючей проволокой. Когда-то тут в кирпичных казармах жили военные, после того как в войну советские бомбардировщики дотла разбомбили немецкий арсенал, базу не стали восстанавливать, на ее месте построили большой стеклозавод и деревообрабатывающий комбинат, так что Андреевка после войны не заглохла, а, наоборот, стала расцветать. Даже на телеграфном столбе у вокзала висело объявление, что требуются рабочие, рабочие, рабочие... На месте сгоревшего поселкового Совета построили новый. На окраине белело кирпичное двухэтажное здание школы. Пять лет прошло, как закончилась война, а в Андреевке не осталось и следов от пожарищ, бомбежек, разрушений.

Товарняк звонко застучал буферами, вагон дернулся и медленно покатился. Проплыла коричневая железнодорожная казарма на бугре, будка стрелочника, замелькали кусты, дальше пошел молодой сосняк. Нет, все же война оставила свои оспины на теле земли, то тут, то там возникали круглые, заросшие травой и жидкими кустиками воронки. Особенно

много их было за железнодорожным мостом через Лысуху. Под убаюкивающий стук колес Игорь Найденов слова, уж в который раз, стал вспоминать все, что произошло с ним начиная с того страшного 1943 года...

Он жил с матерью под Калинином, в небольшой деревеньке. У них было богатое хозяйство, в доме дорогие вещи, за скотиной ухаживали двое молчаливых рабочих. Первое время к ним часто приезжал отец, он был уже не Григорий Борисович Шмелев, а Карнаков Ростислав Евгеньевич, и по тому, как перед ним тянулись полицаи, видно было, что он занимает у немцев высокий чин. Потом отец перестал приезжать, а мать все чаще стала поговаривать, что лучше бы вернуться в Андреевку. И как только поблизости снова загрохотали пушки и по дорогам заползали танки и грузовики с солдатами, мать вместе с ним, Игорем, покинула чужую деревню. Они нагрузили добром большую повозку, запряженную двумя откормленными битюгами с мохнатыми копытами: в кадушках было засолено мясо и сало двух срочно зарезанных боровов, к задку телеги привязали самую дойную из пяти черно-белую корову и отправились по проселку в сторону Андреевки. Немецкие посты вполне удовлетворялись документом с орластой печатью, который мать прятала за чулок, – немцы его называли «аусвайс». Ночевали они в глухих деревнях. С хозяевами расплачивались салом. Чем ближе к Андреевке, тем оживленнее становилось на проселках: на запад двигались немецкие грузовики с ящиками, легковые ма-

шины, ползли пятнистые танки с прицепленными пушками. И немцы здесь были другие; злые, подозрительные. Многие с окровавленными повязками. Раньше проверяли документ и даже не заглядывали в повозку, а тут как-то попались им на встречу несколько крытых брезентом грузовиков с эсэсовцами в черных мундирах. Низкорослый, круглолицый офицер долго мусолил «аусвайс», оглядывал с ног до головы рослую мать в осеннем пальто с меховым воротником, йотом что-то сказал своим, и те, вышвырнув Игоря, полезли в повозку. Раздались их довольные возгласы, подбежали эсэсовцы с других машин, и скоро все добро было выворочено на дорогу.

– Аусвайс может быть фальшив, – по-русски сказал офицер. – Ваш муж нет там, где поставлена печать. Я сам еду оттуда...

Мать молча, со сжатыми губами, смотрела, как эсэсовцы растаскивали продукты, вытряхивали из узлов и чемоданов отрезки, платья, белье... Им оставили лишь повозку с лошадьми, – даже корову отвязали. Мать не плакала, только стискивала руку сына. Остальное отобрали под самым Климовом. Они с матерью ночь провели в лесу, слышали канонаду, в небо взвивались разноцветные ракеты, гудели невидимые самолеты, утром их остановили люди в красноармейской форме, мать не стала показывать им «аусвайс», потом она его спалила в костре. Бойцы сказали, что лошади нужны для оружейных расчетов, идет наступление по всему фрон-

ту, фрицы драпают.

– Наобещал твой батька рай земной, – сказала мать. – А оно вот как все повернулось! И мне, дуре, поделом. На чужое позарилась, а небось и своего лишилась... Как говорят, жадный глаз только сырой землей насытится...

Дом в Андреевке был цел, а вот от хозяйства и паршивой курицы не осталось. Мать бродила по дому злая, растрепанная, то и дело шпыняла Игоря, заставляла ходить с санками в лес и рубить там сучья, сухие деревца. В поселке на них первое время косо посматривали, старший брат Павел и Вадька Казаков гоголями ходили по поселку в красноармейской форме, на гимнастерках у них блестели боевые медали, которые они заработали в партизанах. В 1943-м немцы редко бомбили Андреевку, а в сорок четвертом если и пролетали над поселком самолеты, то лишь советские. Все говорили, что немцам скоро капут, по радио передавали сводки Информбюро, звучала веселая музыка.

Первое время Вадим и Павел носили на груди свои медали, но потом перестали: незнакомые люди, особенно военные, требовали у мальчишек документы, грозили отобрать боевые награды. Не верилось им, что поселковые мальчишки заслужили их в боях с фашистами.

И разве каждому будешь рассказывать, как они с партизанами пускали эшелоны под откос, обстреливали грузовики с солдатами, нападали на мотоциклистов?

В свою компанию Игоря не приняли, хотя и не обижали...

Он сам на них обиделся. И вот из-за чего. Как-то мать послала его к Абросимовым за Пашкой – он там теперь жил и дома почти не показывался, – Игорь пришел туда. Старший брат, Вадька Казаков и Иван Широков играли на лужайке в карты, в банке лежали смятые трешки, пятерки, десятки. Игорь, забыв про поручение, подсел к ним и протянул руку за картой. Державший банк Вадим сделал вид, что не заметил.

– У меня сотняга! – похвастался Игорь, показав зеленую бумажку. Советских денег у них было много, мать перед отъездом в Калинин закопала в подполе целую цинковую коробку из-под патронов, набитую ассигнациями.

– На ворованные деньги не играем, – не глядя на него, буркнул Вадим.

– Какие ворованные? – взвился Игорь. – Мать сховала в подполе...

– А откуда они у вас? – спросил Иван, тараща на него злые глаза. – Твой батька – шпиён. До войны получал их от фашистов – за то, что ракеты в небо пушал. А как он саперов у электростанции убил?

– Мамка молоко красноармейцам продавала... – упавшим голосом произнес Игорь, но ему никто не ответил. – Я за батьку не в ответе, – помолчав, повторил он слова матери.

– Яблоко от яблони... – усмехнулся Вадим, встретившись с угрюмым взглядом Павла. – Катись ты, Шмелев-Карнаков, от нас подальше! Смотреть-то на тебя, гаденыша, противно!

– Много награбили под Калинином? – подковырнул

Иван. – Говорят, твоя matka, как помещица, всей деревней заправляла.

– И батраки из военнопленных на вас горб гнули, – ввернул Вадим. – Думаешь, мы забыли?!

Лишь Павел молчал и хмуро смотрел в свои карты. Как-никак Игорь ему приходился братом по матери.

– Чей ход? – пробурчал он.

– Твово батьку наши к стенке поставят, – сказал Иван. – Эх, хорошо, коли бы его у нас в Андреевке судили!

– Его еще поймать надо! – со злостью вырвалось у Игоря.

– Глядите-ка, он еще защищает врага народа! – уничтожающе посмотрел на него Вадим. – А ну вали отсюда, гаденыш, пока кровь из сопатки не пустил!

Игорь не нашелся, что ответить, поднялся с колен и отправился домой, матери заявил, что больше к Абросимовым ни шагу, та только вздохнула и отвернулась.

А потом он подружился с поездным воришкой, ошивавшимся несколько дней на вокзале. Тот не стал спрашивать, кто у него батька, охотно вытащил из кармана карты. За два дня Игорь в бешеном азарте ухитрился проиграть в «очко» все материны деньги, переложенные из цинковой коробки в комод под постельное белье. Поняв, что он натворил, не выдержал и заплакал. В карты они резались под железнодорожным мостом через Лысуху. У него даже мелькнула мысль закрыть глаза и кинуться вниз головой, в каменистую неглубокую речушку... Каким ни было заскорузлым сердце у во-

ришки – его звали Глиста, потому что он был тонкий и худущий, – а, видно, и ему стало жалко в прах проигравшегося мальчишку.

– Чего ты давеча толковал про корову-то? – спросил Глиста, глядя на него выпуклыми карими глазами с длинными девчоночьими ресницами.

– Мамка хотела на эти деньги корову купить... – выдал из себя Игорь.

Глиста, не считая, разделил объемистую пачку денег на две равные части, одну вернул Игорю.

– Может, когда окажусь в твоих местах, молочком угостишь, – ухмыльнулся, раздвинув тонкие синеватые губы, Глиста. – Люблю парное молочко с хлебцем!

Ошалев от радости. Игорь припустил домой, там у комода с вытащенным ящиком и вывороченным на пол бельем его встретила мать. Он ее еще никогда не видал такой разгневанной: багровое лицо, белые глаза, закушенные губы.

– Вот я принес... – выхватив из кармана растрепанную пачку, протянул ей Игорь.

Ее тяжелая рука наотмашь ударила его по лицу, из глаз брызнули разноцветные искры, удары сыпались на голову, плечи, он упал, она стала пинать его ногами...

– Несчастный выродок! Ворюга! Навязался на мою голову... Убью мерзавца!..

До сих пор стоят в ушах ее гневные слова.

Не помня себя, он выкатился из комнаты и, размазывая

по лицу кровь, перемешанную со слезами, кинулся на станцию. Глисту он нашел под дубовым деревянным сиденьем, тот сладко спал, пуская на подложенную под голову котомку слюну.

Почти полгода странствовал по стране на поездах Игорь Шмелев с Глистой. Новый дружок научил его воровать у спящих пассажиров в вагонах, срезать бритвой заплечные мешки со спин спекулянтов, облапошивать торгующих снедью баб на базарах и привокзальных толкучках. Даже беспробитно играть в карты на деньги. Два раза они попадались. Раз сбежали из милиции, второй раз «нарезали болты», как выразился Глиста, из детдома, куда их определили, сняв в очередной раз с поезда. О матери он старался не думать; обида не проходила, да и маленький шрам на верхней губе напоминал о ее жестокой руке...

А в октябре сорок третьего произошло вот что.

Как обычно они с Глистой разделились в поезде – один начинал шмонать от локомотива, второй от последнего вагона – и постепенно сближались. Игорь зажатой в костяшках пальцев безопасной бритвой разрезал у спящей женщины зеленый вещевой мешок и извлек из него круг пахучей домашней колбасы. Не выдержав, тут же под лавкой, на которой впритык дремали человек восемь, съел без хлеба, не пожелав поделиться с Глистой. Потом он наткнулся на фибровый чемодан, стоявший между ног пожилого человека с надвинутой на глаза кепкой. Человек сидел на краю скамьи

почти у самого прохода, по-видимому, он крепко спал, потому что проходившие мимо задевали чемодан, а пассажир не просыпался. Это был верняк. Поначалу люди прижимают к себе вещи, кладут под головы, зажимают между ног, бывает, даже привязывают веревками или ремнями к себе, а потом, к ночи, начинают все сильнее задремывать и скоро совсем о вещах не помнят. Этой поездной азбуке его обучил Глиста. Главное, нужно убедиться, что все спят, бывает, один бодрствует и все примечает. Есть еще одна опасность: как бы в тот самый момент, когда начинаешь брать чемодан, поезд не стал замедлять ход, приближаясь к станции, тогда кто-нибудь из пассажиров обязательно проснется и первым делом схватится за вещи...

В вагоне было сумрачно, свет от фонаря с оплывшей свечкой чуть освещал серые, помятые лица пассажиров, колеса мирно отстукивали километры.

Игорь лежал под скамьей и присматривался к чемодану: не слишком ободран, видно, принадлежит богатому «тузику». Что в нем может быть? Вряд ли продукты, в таких чемоданах лежат хорошие вещи, деньги, бывает бутылка водки, а это сейчас большая ценность. На водку можно выменять две буханки хлеба, сала брусок или пару банок мясных консервов. Брюки на ногах шерстяные, башмаки крепкие, с необорванными шнурками. В чемодане наверняка ценные вещи...

Мальчишка осторожно выбрался из-под скамьи, кто-то всхлипнул во сне, будто в ответ что-то пробормотали, кепка

до кончика носа закрыла лицо пассажира, которому принадлежал чемодан. Игорь взглянул на свечку: еще, проклятая, коптит! Оглядевшись вокруг, он взялся за ручку чемодана, ловко выдвинул его в проход и, чувствуя, как радостно запело все внутри от удачи, сделал осторожный шаг вперед по узкому проходу, но тут крепкая рука впиалась в его худое плечо. Внутри все оборвалось: ну, сейчас начнется! Крик, шум, оплеухи, тычки в спину, а потом на первой станции сдадут железнодорожному милиционеру и...

– Боже мой, Игорь! – услышал он тихий голос человека.

Зыркнул из-под русой челки, и глаза его встретились с серыми глазами отца... Чемодан с глухим стуком упал на пол, несколько пассажиров проснулись, беспокойно заворочались, подозрительно стали ощупывать заспанными глазами грязного, оборванного мальчишку, которого все еще держал за плечо пассажир.

– Никак воришку поймали? – спросил кто-то.

– Все в порядке, граждане, – негромко проговорил отец. – Спите.

– Батя! – выдохнул из себя онемевший от неожиданности мальчишка. – Я думал, ты...

– Надо же, Игорек! – улыбался отец. – Я только что думал о тебе.

– Я из дома утек...

– Потом, Игорек, потом... – придвинул его к себе отец, по лицу его было видно, что он не менее ошарашен, чем сын.

Под Москвой они целую неделю провели вместе. Мальчишка, отмытый, отогретый лаской, жадно, как губка, впитывал слова отца, который учил его жить... Это был совсем другой отец, не тот, что в Андреевке, там он, бывало, и десятком слов не обмолвится за день с сыном, а сейчас он толковал с ним, как со взрослым, и оттого его слова навечно отпечатывались в сознании мальчика.

– ... Ты теперь навсегда для всех советских людей сын врага народа!.. – спокойно говорил отец.

Он расхаживал по маленькой комнате, где они жили вдвоем, иногда сидел на подоконнике, и тогда Игорь видел его постаревшее лицо с умными глазами, горькую складку у губ. Мальчик все больше ощущал, что любит этого человека, да и кого ему оставалось любить? О матери он вспомнил только раз, когда рассказал об их возвращении в Андреевку, не скрыл и случая с проигранными деньгами...

– ... И тебе этого никогда не простят, Игорь. Какой же выход? Уехать отсюда пока невозможно, значит, нужно затаиться, стать другим. Я вот уже много лет другой... А для этого вот что необходимо сделать: забыть обо мне... – В ответ на протестующий жест сына улыбнулся, – Когда нужно, о себе напомним... Забыть свою фамилию, да она вовсе и не твоя, чужая... Забыть, что у тебя была мать...

Тогда Игорю казалось, что сделать это легче всего: обида все еще жгла сердце, когда вспоминал про мать, рука машинально поднималась к лицу и щупала шрам над верхней губой.

– Ты завтра сам отправишься в милицию, расскаешься в беспризорничестве, мол, надоела воровская жизнь, попросишься в детский дом... Ничего, Игорек, придется потерпеть, зато там будешь в школе учиться, потом поступишь в институт. Парень ты толковый, и еще все в твоей жизни устроится наилучшим образом. О прошлом говори коротко: началась война, жил в городе, когда подошли немцы, эвакуировался, по дороге на Урал эшелон с беженцами разбомбили «юнкеры», все близкие погибли, очнулся под откосом в воронке, отца не помнишь – он ушел от вас, когда ты был совсем маленьким. Фамилия? Пусть будет Найденов, самая подходящая детдомовская фамилия...

– Я не хочу учиться, – возражал Игорь. – Можно деньги и так иметь. Ловкость рук – и никакого мошенства...

– Не повторяй глупых слов! – оборвал отец. – Это сейчас еще вольготно живется вашему брату, а кончится война – сразу возьмутся за воров и бандитов.

– А кто победит? – спросил Игорь. – Немцы отступают, говорят, в Гитлера стреляли? Или бомбой хотели убить?

– Гитлеру капут, – нахмурился отец. – Так теперь пленные немцы говорят... Красная Армия оказалась фюреру не по зубам. Видишь ли, сын, русский народ – это особенный

народ, я думаю, его победить невозможно.

– Зачем же ты был... с ними? – не глядя на отца, отдал из себя Игорь.

Отец стал рассказывать о дореволюционной России, когда он жил баринком, имел слуг и дома, мог бы дослужиться до генерала, а большевики всему этому положили конец, немцы была для него как для утопающего соломинка.

Игорь понимал не все, о чем говорил отец, иногда он забывался и думал о своем... За полгода беспризорничества война как-то отступила из сознания: все толковали о победах Красной Армии, отбитых у фашистов городах, о скором конце Гитлера, а они, поездные воришки, жили своей обособленной жизнью, далекой от дум и чаяний народа. Ненавидели милиционеров, называли их «милътонами», «легавыми», презирали фраеров, которые, поймав воришку с поличным, устраивали шум-гам, а то и били. Война стала чем-то абстрактным, нереальным, он даже не интересовался, кто отступает на фронтах, кто наступает. Как-то было безразлично. Его дом – пассажирский поезд, а он все время в движении. Мелькали города, станции, он их больше знал по вокзалам, баночкам, толкучкам, как Глиста и другие называли базары. Все люди делились на две категории: воров и фраеров. Ездили бы на поездах немцы, он и у них бы воровал и считал бы их фраерами. Его героями стали Ленька Золотой Зуб, Череп, Пика, Чугун... С ними встречался иногда в поездах, на вокзалах. Перед ними готов был разбиться в лепешку. Когда

началась война, он, как и другие мальчишки в Андреевке, ненавидел фашистов, а после того как пришли немцы и отец их отправил в деревню, он быстро стал привыкать к новой жизни и уже не считал оккупантов врагами, тем более что они не обижали ни его, ни мать. И, лишь вернувшись в освобожденную Андреевку, он почувствовал, что даже для брата Павла стал чужим. Как они смотрели на него там, в поселке? Да и взрослые кивали на него, отпускали нелестные замечания в адрес матери, недобрый словом поминали Карнакова-Шмелева. Настоящую фамилию отца все узнали после прихода немцев в Андреевку.

Наверное, отец, нашел верный подход к сыну, слова его казались убедительными, правильными. Да и в словах ли тогда было дело? Главное – одичавший мальчишка нашел отца, внимание, заботу, ласку. Еще ни один взрослый человек не говорил с ним так доверительно, как равный с равным.

– Россия ослабла, нища, люди остались без крова, – весомо падали в его сознание слова отца. – Сколько еще лет пройдет, когда они все наладят! Обидно, конечно, что твое детство прошло в нищете и разрухе, да на то, как говорится, божья воля. И мне, Игорь, пришлось несладко... Но раз мы здесь, должны жить, как все. Мне снова придется затаиться, а тебе нужно учиться, вступить в комсомол, когда подрастешь, потом в партию... Ни одна живая душа не должна знать, кто у тебя был отец и кто ты есть на самом деле, а я верю, Игорь, что ты всегда будешь со мной... Немцы не сумели победить

Россию, да-да, они проиграли войну! Теперь вся надежда на нас самих, вернее, на ваше поколение... Я не верю в дружбу русских, англичан, американцев. Закончится война, и между союзниками начнется грызня. Не могут волк с лисой мирно ужиться! Коммунизм напрочь отрицает капиталистический мир, а богатые никогда не найдут общий язык с бедными, появятся новые покровители нашего освободительного движения против Советской власти, они разыщут тебя. Всегда помни, сын, что в тебе течет дворянская кровь Карнаковых. И пока Россия под большевиками, она тебе – мачеха!

Иногда Игорю казалось, что отец все это говорит не ему, а самому себе, очень уж глаза у него были далекие, отстраненные. Дико было, чудом обретя отца, снова надолго потерять его, может быть, навсегда. О своей работе он не рассказывал, два раза ночью стучали в окно их комнаты какие-то люди, и отец подолгу беседовал с ними на кухне. Игорь прислушивался, но разговаривали тихо, да и понять их было трудно. Люди исчезали, отец закрывал дверь, возвращался в комнату, ложился на скрипучую деревянную кровать, – Игорь спал на топчане у русской печки, – ворочался, иногда закуривал. Однажды сын спросил:

– Кто эти люди?

– Волки.

– И ты... волк?

– Все мы здесь волки в овечьих шкурах... – усмехнулся отец. – А волки охотятся ночью.

– Я никогда не видел волков.

– Их и не надо видеть, главное – знать, что они есть и всегда готовы врагам перегрызть глотку...

Больше Игорь не задавал вопросов.

Отец долго расспрашивал про их жизнь в деревне, про мать, поинтересовался бывшей воинской базой, Абросимовыми. Игорь рассказал о смерти Андрея Ивановича, о том, как с медалями на гимнастерках разгуливали по деревне Павел и Вадим...

– Ненавижу их, – вырвалось у него.

– Ты и они – теперь на разных берегах, никогда не забывай об этом, – сказал отец.

Утром того дня, когда Игорь должен был пойти в милицию, отец показал ему маленький черный браунинг. У мальчишки загорелись глаза, однако, подержав красивую штучку в руке и даже понюхав, вернул отцу.

– Твой, – сказал отец. – Только сейчас, сам понимаешь, он тебе ни к чему.

Несколько раз разобрал и собрал браунинг, научил, как им пользоваться, ставить на предохранитель.

– Пострелять бы? – загорелся Игорь.

– Еще успеешь, – усмехнулся отец.

\* \* \*

Сразу за дачами начиналась березовая роща, спускающая-

ся к холодно поблескивающей реке. По воде медленно плыли желтые, розовые и красные листья. Углубившись в рощу, Карнаков облюбывал толстую березу, вытащил из кармана складной нож и, глубоко врезаясь в кору, вырезал инициалы: «И. К.», потом разгреб ногой опавшие листья, лопатой, которую захватил с собой, вырыл яму и опустил туда цинковую банку, обмотанную промасленной тряпкой, – Игорь принес ее в мешковине, – быстро закопал, ногой разровнял землю, сверху нагреб листья, сучки.

– Твой тайник, – сказал отец. – Запомни как следует место. А метка на березе – «Игорь Карнаков» – сохранится навсегда.

В банке лежали хорошо смазанный браунинг, коробка патронов и толстая пачка денег, схваченная красной резинкой.

– Не торопись, Игорь, за кладом, – говорил отец. – Пусть себе лежит. Думаю, что пройдут годы, прежде чем все это тебе понадобится.

\* \* \*

Годы прошли. Игорь Найденов в 1950 году закончил в детдоме семилетку и теперь ломал голову: куда поступить? Еще три года торчать в детдоме не хотелось, лучше подать документы в техникум, можно и в военное училище, но отец вряд ли одобрил бы это. Кто зияет, могут рано или поздно и докопаться, кто он такой, Игорь Найденов, на самом деле... Сын

врага народа! Единственное, что для себя Игорь твердо решил, – это обосноваться в Ленинграде или Москве, тем более что там учебных заведений тьма. В детдоме он изучал английский язык, был первым в классе, учительница утверждала, что у него способности к иностранным языкам. В свидетельстве две тройки – по алгебре и геометрии, по остальным предметам четверки и пятерки. Характеристика тоже хорошая. Игорь знал, что к детдомовцам – детям войны – особенно внимательное отношение в приемных комиссиях.

В какой же техникум поступить? В машиностроительный? Или в полиграфический?..

Перед экзаменами остались кос какие дела... Вот одно из них уже сделано: повидал мать, о которой очень сильно тосковал в детдоме, но о себе так и не дал ей знать, помнил наставления отца. Кстати, вопреки ожиданию, мало что шевельнулось в его сердце, когда он увидел ее нынче утром – сонную, растрепанную, в вязаной кофте и с прутом в руке. В детдоме он внушил себе, что у него нет матери, – остались лишь одно воспоминание да маленький шрам на верхней губе... Главное, что привело его на родину, – это фотографии. Он их вытащил из общей рамки на стене, выдрал из старенького альбома и уничтожил все, кроме фотографии матери...

Не знал он, как тогда недоумевала Александра, не увидев на стене нескольких фотографий. Кому они могли понадобиться? Будто нечистая сила в доме побывала...

В Климове Игорь сел на первый московский поезд и ве-

чером уже находился в дачном поселке, где с отцом провел в 1943 году неделю. С тех пор отец не давал о себе знать. Здесь Игорь побывал в 1946 году, нашел березу со своими инициалами, выкопал заветную банку, которая снилась ему вьюжными ночами в детдоме, хотел все забрать, но взял только деньги, а браунинг с патронами оставил в тайнике, правда, не удержался и пострелял из него в консервную банку, повешенную на сучок... С отцом у них был такой уговор: Игорь искать его не будет, если надо, отец или человек от него сами разыщут. И пусть Игорь не бросает тайник, при случае наведывается к нему, возможно, что он найдет записку или письмо, из которого поймет, что ему нужно будет сделать, чтобы встретиться с отцом.

Пока в тайнике записок и писем не было.

А с деньгами произошла вот такая история: приходилось их все время прятать и перепрятывать, чтобы никто не нашел. В детдоме все друг у друга на виду. И мальчишка – обладатель значительной суммы – не мог потратить деньги так, как ему хотелось. Приходилось ловчить, изворачиваться, всякий раз придумывать новые истории, когда у него появлялась какая-нибудь вещь, вроде понравившегося ему перочинного ножа с множеством приспособлений. Он вконец измучился, даже плохо спал по ночам, опасаясь, что кто-либо из ребят выследил его и ждет момента, чтобы украсть деньги. Прятал в подушку, матрас, даже запихивал сверток с деньгами в трубу помятого самовара, найденного на чердаке.

Вкусные вещи, конфеты и шоколад покупал тайком и давился ими ночью под одеялом или спрятавшись где-нибудь в мастерских. Делиться колбасой или конфетами Игорь ни с кем не хотел, друзей у него не было, а на девчонок он тогда не смотрел.

Все закончилось самым неожиданным образом: в 1947 году объявили денежную реформу, и его деньги превратились в ничто. Конечно, он их обменял, но на руки получил жалкую сумму по сравнению с той, которую имел. И тогда у него впервые возникло недовольство Советской властью, лишившей его богатства. Да, обладая деньгами, он чувствовал себя богачом! Это давало ему право смотреть на других ребят свысока. Ведь он мог иметь то, что не могли иметь они. И вот его в один день лишили этого сладкого преимущества...

Недовольство, медленно накапливаясь, превращалось в ненависть. Вспоминались разговоры с отцом – тот гордился своим дворянским происхождением и сыну это завещал. Единственно, чего Игорь тогда не понимал: какой прок ему от этого дворянского происхождения? Об этом нельзя было кричать на перекрестках, да и ребята подняли бы его на смех, заяви он им о своем высокородном происхождении...

Дачный поселок не изменился, разве что среди деревьев зажелтели новые постройки. Они все ближе подбирались к березовой роще. К счастью, ее пока не трогали. Вечер был теплый, и у речки прогуливались дачники. Какое негодование охватило его, когда под своей березой с инициалами он

увидел парней и девушек, расположившихся на плащ-палатке с бутылками и закусками. На земле играл патефон, Русланова душевно выводила: «Валенки, валенки...» Игорь прошел мимо раз, второй, судя по всему, компания не спешила закругляться. Чернявая девушка, смеясь, что-то сказала парню, положившему голову ей на колени.

– Потерял кого, дружок? – приподнявшись, спросил он.

Игорь сдержался, чтобы не ответить резко, но тут второй парень, явно под хмельком а потому любящий весь мир, сказал радушно:

– Присаживайся, коллега! Эй, Семен, налей красненького доброму молодцу.

Ребята оказались сборщиками с автомобильного завода «ЗИС», вот компанией собрались отметить день рождения Катеньки, той самой чернявой, которая первая обратила внимание на Игоря. Она и сейчас, когда он присел на краешек плащ-палатки, с интересом посматривала на него. Высокий, с густыми русыми волосами, правильными чертами лица, Игорь нравился девушкам, на него засматривались одноклассницы в детдоме, а одна – Лена – даже написала записку... Глупая записка, в ней нацарапано, что ее, Лену, сводят с ума его родниковые глаза – слово-то какое откопала! – и пухлые губы... Она назначила ему свидание у кладбища, но он не пришел. Толстушка Лена ему совсем не нравилась, да и вообще – детдомовские девчонки его не привлекали и настоящих друзей у него не было. Может, потому, что меж-

ду ребятами и им, Игорем, все время стояла тайна? Тайна, открытая ему отцом... Чего греха таить, он ставил себя выше товарищей по детдому. Все, что говорили учителя, читал в книгах, видел в кино, он теперь воспринимал по-своему, критически, с недоверием, хотя никогда никому свои взгляды на жизнь не поверял. Он научился быть молчаливым, замкнутым – больше слушал, чем говорил, правда, иногда на его губах, которые свели с ума дурочку Лену, появлялась скептическая усмешка, которая не нравилась сверстникам.

Пригласившего Игоря в компанию парня звали Лешей, второго – Семеном, девушек – Катей и Машей. Не очень-то хотелось Игорю расслаиваться с ними, но все равно, пока они не уберутся отсюда, делать было нечего. Леша налил ему в граненый стакан белого портвейна, пододвинул консервную банку с килькой.

– Дерябни и закуси с рабочим классом, – ухмыльнулся он.

– Не пью, – отказался Игорь, а белесую кильку подцепил перочинным ножом и положил на кусок хлеба с маслом.

– За день рождения Катеньки! – настаивал тот.

– Представляете, я совершеннолетняя! – взглянув на Игоря, засмеялась девушка.

Он отметил, что у нее полные ноги в капроновых чулках, платье сбоку задралось и была видна широкая розовая резинка. Она приковала к себе его взгляд. Девушка, все так же улыбаясь, скосила вниз глаза, небрежно одернула платье.

Игорь в свои восемнадцать лет всего один раз имел дело

с женщиной. Это случилось в прошлом году на уборке картофеля в колхозе. Вместе с ними на поле работали и студенты. Игорь возил на лошади мешки с картошкой на склад, а девушки там сортировали ее. Рослая голубоглазая блондинка Галя в синем спортивном костюме, обтягивающем грудь, первой заговорила с ним. Игорь солгал, что он тоже студент, – он всегда выглядел старше своих лет. Видя, что он робок и всякий раз, оказываясь рядом, отводит глаза, она мимоходом сказала, что после ужина будет на берегу речки, оттуда очень красивый вид на рощу, над ней с криками пролетают гуси-лебеди...

Он пришел и там, на стоге сена, все и произошло. Он чуть было не оконфузился, но когда признался, что это в первый раз, девушка весело рассмеялась и так поцеловала, что он чуть не задохнулся... Потом он тенью ходил за ней, звал на речку, но Галя его избегала. Он злился, преследовал ее, но девушка перестала обращать на него внимание. Как-то он увидел ее возле их стога с высоченным парнем в суконной куртке. Искусав ночью до крови губы, Игорь на следующее утро попросил бригадира, чтобы его перевели на другой участок... Но и потом еще долго ночами ему снился развороченный стог, белые Галины ноги, и просыпался он от ее заливистого смеха и обидных слов: «Ты еще мальчик!»

– ... Он не хочет выпить за нашу Катю-Катерину? – подал голос Семен, он теперь привалился спиной к острым коленкам второй девушки, которую звали Машей. – Ты знаешь,

Игорь, за Катю-Катерину вчера поднял тост сам Филиппов!  
Все засмеялись, Игорь тоже улыбнулся, но пить не стал. Однажды с двумя одноклассниками они стащили с телеги, на которой везли в сельпо ящики с водкой, две бутылки «московской», забрались на чердак и там распили, закусив луком и хлебом... Так отвратительно Игорь никогда себя в жизни еще не чувствовал, его выворачивало наизнанку, в глазах все кружилось, острая боль разрывала внутренности. На другой день у него был такой вид, что воспитательница отправила в медпункт... Вот тогда он и дал себе слово больше никогда не употреблять спиртного. От одного вида белой жидкости в зеленоватой бутылке его уже мучило.

– Кто такой Филиппов? – поинтересовался Игорь.

– Филиппов – это великий человек! – улыбнулся Леша. – Начальник нашего цеха. Бог и царь, а наша Катенька ему нравится...

– Он старый, – отмахнулась та. – И у него нет одной руки.

– Иди к нам на завод, – вдруг предложил Семен. – Хорошие деньги будешь заколачивать. Ну полгода поработаешь учеником, а потом пойдет монета. Знаешь, сколько я зашибаю?

– Хвастун, – вставила Маша.

– Я поступаю в университет, – соврал Игорь.

– Ну и дурак, – заметил Леша. – Выучишься на кого? Учителя или физика-химика?

– Иностранный язык и литература...

– Да на кой ляд тебе сдались языки, Игорек? – хлопнул ладонью себя по колену Леша. – Кому все внимание – нам, рабочим! Посмотрите, ребята, какие у него руки, плечи. Да тебе ворочать моторы и кузова в цехе сборки, а не книжечки листать да лопотать не по-нашенски...

– По-твоему, учеба – это ерунда? – без улыбки взглянула на него Катя.

– Учиться никогда не поздно, – сбавил тон Леша. – Я и сам собираюсь поступить в школу рабочей молодежи...

– Уж который год собираешься? – ввернула Маша. У нее было маленькое невыразительное лицо с большим ртом и удлиненным подбородком.

– Ребята, жизнь только начинается, так хочется повеселиться, погулять! Как мы жили в войну? Голодные, напуганные бомбежками, с утра до вечера только и думаешь, чем бы брюхо набить! И от школы отвыкли... Как только вспомню, что после работы еще надо за парту садиться, такая тоска на меня, братцы, накатывает... Жуть!

– А как же другие? – снова вступила в разговор Унылая Маша, как про себя ее прозвал Игорь. – Я работаю и учусь – и ничего.

– Другие, другие! – нарочито плачущим голосом заговорил Леша. – Да что мне до других? Я, Алексей Листунов, родился на этой земле в единственном экземпляре. Почему я должен во всем походить на остальных? Может, я специально не поступаю в школу, чтобы не быть похожим на других?

– Лень тебе учиться, вот и все, – нравоучительно произнесла Маша. – Трудностей боишься.

– Это я-то? – возразил Леша Листунов. – А кто пережил голодное детство, послевоенную разруху? Кто недосыпал, недоедал, вкалывая на стройках пятилетки? Кто восстанавливал города, заводы, фабрики? Я и видел-то в своей жизни только одни трудности. Не успеешь оглянуться – и состаришься в борьбе с этими трудностями. И почему так не повезло в жизни нашему поколению?

– Я не считаю себя несчастной, – заметила Унылая Маша.

– Надоели мне эти проклятые трудности! – продолжал Леша. – А когда жить прикажете? – Он обнял за талию Катю. – Любить? Наслаждаться?

Игорю нравился ход рассуждений Листунова, такого он еще ни от кого не слышал. Наоборот, все толковали о трудовом подъеме, увеличении производительности, своем вкладе в дело восстановления народного хозяйства... Вступать в спор не хотелось, тем более что товарищи Листунова совсем не разделяют его мысли. Может, он просто дурачится? Разыгрывает их?

– Ты рассуждаешь, как эгоист, – начала Маша.

– Я и не отрицаю, что я эгоист... в личной жизни, а на работе Алексей Листунов ходит в передовиках. И почему эгоистом быть плохо?

– Ну, знаешь!.. – покачала головой Маша.

– Не знаю, – рассмеялся Леша. – Объясни, пожалуйста.

– Ну, во-первых, если бы все были эгоистами, мы никогда войну не выиграли бы...

– Ты не путай эгоизм с патриотизмом, – перебил Листунов. – Эгоисты воевали не хуже других. Отец одного моего знакомого сам рассказывал, как взял в плен немецкого офицера, чтобы попасть во фронтовую газету, где должны были бы напечатать его портрет. Очень уж хотелось ему послать газету своей девушке в Куйбышев.

– И послал? – спросил Семен, носатый парень с рыжеватой челкой, спускающейся на лоб.

– Медаль за отвагу получил, а в газете почему-то так про него и не написали...

– Мне стыдно тебя слушать, – отвернулась от него Унылая Маша. Длинный подбородок ее от возмущения задрожал и стал еще длиннее.

– За что купил, за то и продаю, – заметил Листунов. – А медаль я у него сам на груди видел. В День Победы. А вот я бы из-за девушки не стал рисковать своей драгоценной жизнью! Да и в газету никогда не стремился бы попасть... Значит, никакой я не эгоист, а передовой производственник нашего цеха! Давайте выпьем за Лешку Листунова – человека нового, послевоенного поколения! Хватит о войне, о плане, о коллективе! Как говорил один философ, пока я существую, есть все, а когда меня нет – ничто не существует!

– Кто этот философ? – полюбопытствовал Семен.

– Фамилию забыл! – рассмеялся Алексей. – Какой-то

немец.

– Маркс? Или Энгельс? – пристал к нему Семен.

– Нет, у него фамилия на «К» или на «Б»...

– Выпил он, вот и треплется, – попыталась разрядить обстановку Катя. – Что вы, не знаете Лешку? Он «Краткий курс» и то до конца не дочитал, а Маркса и Энгельса знает только по портретам.

– Темный ты человек, Алексей, – покачала головой Унылая Маша.

– Веселый он, заводной, – вступилась Катя.

– Треплюсь я, братцы! – воскликнул Алексей. – Разыгрываю вас, чудиков! Не читал я никаких философов, был на лекции, вот там и слышал про «существую – не существую»... – Он поднял свой стакан. – А выпить за меня надо. Кто в числе первых подписался на последний заем? Я – Алексей Листунов! Кто подал заявление в комсомол? Я! «Расцвели яблони и груши-и... Поплыли туманы над рекой-ой!..» – дурашливо затыкнул Алексей.

Игорь сообразил, что он притворяется, прикидывается пьяным более, чем есть. Видно, струхнул, что лишнего наболтал...

– Мальчики, чего это мы все спорим и спорим? – улыбнулась Игорю черноволосая, кареглазая Катя. – Мы что, празднуем мой день рождения или выступаем на диспуте «Герой нашего времени»?

– Умница! – чмокнул ее в щеку Леша. – Да здравствует

Катенька, ура! – И лихо опрокинул в себя налитый Игорю стакан.

– Есть святые вещи, которые походя задевать нельзя, – недовольно сказала Маша, бросив на Листунова укоризненный взгляд. – И в комсомол тебе еще, по-моему, рано. Несознательный ты элемент, Алексей.

Тот соорил серьезную мину, налил всем в стаканы, поднялся на ноги и торжественно провозгласил:

– Выпьем за героев, павших в боях за Родину. Вечная им память! Пусть знают, что благодарные потомки их никогда не забудут.

Сначала все смотрели на него с недоумением, ожидая очередной шутки, но потом один за другим поднялись. Встал и Игорь, правда, стакана не поднял. Он с симпатией смотрел на Алексея и думал про себя, что тот рассуждает в точности как и он, Игорь. Вот только всерьез так думает или всех дурачит? Как бы там ни было, ему захотелось поближе познакомиться с этим веселым, бесшабашным парнем, да и Катя ему все больше нравилась. Когда снова сели, кончик розовой резинки опять показался из-под ее платья, но он старался не смотреть на колени.

К Игорю больше не приставали, и он переключился на девушек: делал им бутерброды с маслом и колбасой, рассказывал разные смешные истории, услышанные от других, даже спел блатную песню про Мурку, которая предала воровскую компанию, за что и получила пулю в лоб... Алексей дал ему

свой московский адрес и велел обязательно в гости заходить. Семен жил в рабочем общежитии, а Катя быстро написала на клочке газеты, в которую были завернуты помидоры, свой телефон. Игорь думал, что она потихоньку сунет ему бумажку, но девушка открыто протянула и сказала:

– Будешь в Москве – звони, я тебе покажу Третьяковку, – и, наклонив черную, галочью голову, пристально посмотрела ему в глаза.

Игорь почувствовал, что краснеет, и, злясь на себя за это, резко отвернулся, а девушка негромко рассмеялась.

– Смешной ты, – тихим грудным голосом произнесла она.

Он проводил их до электрички, сказал, что у него здесь тетя живет, и даже наугад назвал адрес, впрочем, тут же прибавил, что завтра уезжает в Ленинград. У Кати стройные ноги, а вот талия подкачала – широкая. Девушка задержала его руку в своей, карие глаза у нее блестели; когда она улыбалась, в зубах заметна щербинка; на щеке родимое пятнышко, впрочем, оно ее не портило; руки у нее большие,жатие крепкое.

– Звони, Игорь, – сказала она, – я буду рада.

Потом он вернулся в рощу, разрыл яму, вытащил банку, вытряхнул из нее завернутый в тряпку браунинг, патроны. Банку повесил на сук, прицелился, но не выстрелил, спрятал браунинг в карман и, насвистывая, зашагал по тропинке к видневшейся сквозь просветы в деревьях станции.

Дмитрий Андреевич Абросимов и директор детдома Василий Васильевич Ухин сидели на толстой полусгнившей березе, осклизлые ветви которой мокли в озерной воде, и курили. Перед ними расстиралось огромное озеро, с пышными зелеными островами, загубинами и камышовыми заводьями. Называлось оно Белым. За старым парком торчали из воды черные сваи, там когда-то был господский садок для рыбы. На живописном холме белело большое двухэтажное здание – бывшая княжеская усадьба. На фасаде выше окон с гипсовой лепкой цветными изразцами выложена царевна-лебедь, выходящая из воды. Кое-где облицовка осыпалась, краснела кирпичная кладка. Ближе к берегу раскинулись приусадебные постройки. Крыша длинного скотного двора провалилась посередине, у низких квадратных окон темнели кучи навоза. Редкие высокие облака просвечивали на солнце, на озере то и дело всплескивала рыба.

– Посидеть бы здесь с удочкой, – мечтательно глядя на озеро, проговорил Дмитрий Андреевич. – Щука бьет, окунь гуляет, и лещ в лопушинах чмокает. Слышите?

– Я никогда удочку в руках не держал, – ответил Ухин. Он в хорошем коричневом костюме. Крупная голова с залысинами у висков, широкое толстогубое лицо, бровь пересекает розоватый шрам – след осколка.

Дмитрий Андреевич в зеленом офицерском кителе без погон, синих галифе и хромовых сапогах, на груди три ряда орденских ленточек. В черных, отступивших ото лба волосах пробивается седина, у крупного, абросимовского носа две глубокие складки, крепкие выбритые щеки отливают синевой.

– Самое большое – одну бригаду строителей я смогу вам до сентября выделить, – продолжил начатый разговор Дмитрий Андреевич. – Сами знаете, какое сейчас идет строительство в Климове, есть семьи, которые еще из землянок не выбрались.

– Не успеем к началу учебного года все привести в боже-ский вид, – сказал Василий Васильевич. – Ну ладно, жилые комнаты оборудуем, а классные? Даже парт не завезли. Где учителей разместим? Обслуживающий персонал? Да они посмотрят, что тут полный развал, и сбегут в райцентр.

– Люди возвращаются на пепелища и строятся, а у вас вон какой дворец! – с улыбкой кивнул на белый особняк Абросимов.

– Снаружи-то красиво, а внутри?

– У меня идея, Василий Васильевич, – сказал Дмитрий Андреевич. – Чего нам дожидаться начала учебного года? Перевозите ребятишек из Климова прямо сейчас. За три месяца вы тут все расчистите, приведете в порядок помещение. Глядите, какая стоит теплынь! Поживете в палатках, можно на острове разбить лагерь, чем для ребятишек не романтика?

– Какая уж тут романтика, – усмехнулся Ухин. – Придется грязь на себе вывозить с утра до вечера...

– Чем киснуть им лето в городе, пусть лучше поработают на благо собственного дома, – заметил Дмитрий Андреевич.

– Стройматериалами-то хоть обеспечите?

– Завтра же несколько машин с досками отправлю, – пообещал Абросимов.

– Стекла нужны: зарядит дождь – поплывем прямо в комнатах.

– Дадим и стекла.

– Это ваша идея открыть тут детский дом? – спросил Ухин.

– Здесь когда-то была вотчина князя Турчанинова, – сказал Дмитрий Андреевич. – Раньше прохлаждались тут князья, а теперь сделаем рай для наших ребятишек.

– Мой Витька погиб под бомбежкой, – глухо уронил Василий Васильевич. – В сорок втором.

Громко всплеснуло у самого берега, от камышей пошли круги, недовольно крякнула невидимая утка. Был конец мая, сквозь серый прошлогодний камыш настойчиво пробивался к солнцу молодой, зеленый. Еще не появились из глубины кувшинки, лишь в темной воде смутно лиловели маленькие округлые листья.

– Мой старший, Павел, воевал рядом со мной, – помолчав, проговорил Абросимов. – И племянник Вадим. Отчаянные парнишки! Сколько у меня из-за них прибавилось седых во-

лос на голове! Мальчишками были, а партизанили со взрослыми наравне, обоих наградили боевыми медалями.

Ухин ничего не ответил, он смотрел на озеро, будто увидел там что-то необычное, но озеро было тихое, спокойное. Не шевелились и ветви на деревьях, стоявших на другом берегу.

– Я отца потерял в Андреевке, – сказал Дмитрий Андреевич.

– Читал про его героическую гибель в районной газете, – отозвался Василий Васильевич. – Да и про ваши партизанские подвиги наслышан.

– А вы где воевали? – невольно взглянув на багровый шрам на лбу, спросил Абросимов.

– Рокоссовский командовал Донским фронтом, когда мы вышли на Курскую дугу, – ровным голосом рассказывал Ухин. – Ну там собралось столько солдат, техники, такого я больше не видел, да и вряд ли доведется когда-нибудь увидеть. Я командовал минометной ротой. Когда все началось, меня осколком зацепило под Старым Осколом... Отлежался в госпитале и закончил войну на Одере... Самая обыкновенная биография фронтовика.

– Осколком под Старым Осколом... – задумчиво проговорил Дмитрий Андреевич.

– Я об этом как-то не подумал, – усмехнулся Василий Васильевич. – Смешно!

– Ничего тут смешного нет, Василий Васильевич, – заме-

тил Абросимов. – Расскажите ребятам, как вы воевали. И про Старый Оскол.

– Не знаю, как другие, а я не люблю про войну вспоминать, – ответил Ухин. – Хватит того, что по ночам до сих пор кошмары снятся.

– Про эту войну люди должны всегда помнить, – возразил Дмитрий Андреевич. – Чтобы не разразилась еще одна.

– Думаете, может такое случиться?

– Тогда бы я сказал, что весь мир сошел с ума! – громко сказал Абросимов.

Будто испугавшись его голоса, совсем рядом что-то бултыхнулось.

– Щука или лещ? – посмотрел на медленно расходящиеся круги Василий Васильевич.

– Богатое озеро, – сказал Дмитрий Андреевич. – Разве плохо ребятишкам свежую рыбу к столу? Вон у князя, – он кивнул на заводь со сваями, – был собственный садок... Интересно, есть тут судак?

– Приезжайте порыбачить, – предложил Василий Васильевич.

– Как тут обживетесь, обязательно приеду, – сказал Абросимов и поднялся со ствола. – Красивые места! Душа радуется, глядя на эту благодать... Со мной поедете?

– Я переночую в деревне, – сказал Ухин. – Еще раз обойду... наши княжеские владения!

– А вам-то нравится?

– Вообще-то я горожанин... Но разве такая красота оставит кого-либо равнодушным?

– Ну вот и прекрасно! С новосельем вас, Василий Васильевич! – от души пожал ему руку Абросимов.

Директор детдома проводил его к «виллису», стоявшему у деревянного дома с разбитыми окнами. Дмитрий Андреевич сел за руль, включил мотор и привычно тронул с места. Небольшая юркая зеленая машина с плоским капотом и брезентовым откидным верхом скоро скрылась среди могучих сосен, подступивших к поселку. Солнце било в лобовое стекло, и Дмитрий Андреевич опустил щиток: он любил ездить с открытым верхом, только в дождь поднимал брезент. Скоро дорога пошла вдоль колхозного поля. Он был доволен, что настоял перед областным начальством о передаче бывшей княжеской усадьбы детдому. Немцы тут устроили продовольственный склад, на скотнике резали для своих солдат коров, свиней, овец, которых отбирали у населения, за два года они все тут загадили, разграбили. Разобрали деревянные стены внутри особняка, уходя, подожгли подсобные помещения, сараи, но местные жители сумели быстро погасить, благо озеро рядом. Теперь тут будут жить ребята... Дмитрий Андреевич ничего не сказал директору, но в душе он позавидовал ему, сам рад бы был возглавить этот детский дом. Тихо, сосны кругом, красивое озеро... Почему его назвали Белым? Голубое с зеленоватым отливом у берегов. Может, потому, что белых лилий много?

Беспокойная жизнь первого секретаря Климовского райкома партии порядком измотала Абросимова. Приехав нынче сюда, он вдруг остро почувствовал тоску по школе, мальчишкам и девчонкам, которых столько лет учил уму-разуму до войны... До 1948 года он был на политической работе в армии, демобилизовался в звании полковника, в Тулу не вернулся. Жена Рая с дочерьми Варей и Тамарой приехала в Андреевку, там они прожили полгода. Дмитрия Андреевича сначала назначили заведующим отделом пропаганды в обком, а два года назад избрали первым секретарем Климовского райкома партии. Очень Рае не хотелось переезжать из Калинина, где у них была хорошая квартира, в Климово: мол, и девочкам было бы лучше учиться в большом городе... Девочки! Уже невесты. Варя поступила в Калининский педагогический институт, Тамара в этом году заканчивает десятилетку. Жена работает в Климове завучем средней школы.

Выехав на шоссе, Дмитрий Андреевич неожиданно повернул не в Климово, а в Андреевку – вдруг неудержимо потянуло к матери, он не был у нее больше месяца. С досадой вспомнил, что не выполнил ее просьбу: Ефимья Андреевна просила привезти дрожжей для теста, а он все забывал... У него район, как говорится, на шее, а тут дрожжи!.. Заехал в первый попавшийся на дороге магазин – дрожжей, конечно, не было, устроил нагоняй продавщице, а потом стыдно стало: она-то при чем, если дрожжи уже который месяц не привозят?..

И, только сворачивая у висячего моста с шоссе на проселок к Андреевке, почувствовал, как вернулось хорошее настроение. Тут каждая тропка исхожена с детства, а когда был в партизанах, все окрестные леса-болота изучил. Дорога тянулась вдоль железнодорожных путей; не доезжая моста через Лысуху, увидел впереди женщину в платье с короткими рукавами. Что-то в ее фигуре и тяжеловатой походке угадывалось знакомое. Поравнявшись, притормозил, женщина обернулась, и он узнал Александру Волокову. Ее светлые глаза без всякого удивления смотрели на него. Располнела, но еще неплохо выглядит для своих лет, в русых волосах, стянутых на затылке в тугий узел, не заметно седины.

– Садись, подвезу, – открыв дверцу, предложил он.

– Тут недалече, – произнесла она своим резким голосом. – Да и не привыкла я разъезжать на машинах.

Глаз не отводит, ничего в них не прочтешь. Он знал, что ее вызывали, спрашивали про мужа Карнакова-Шмелева, но она ничего не смогла рассказать, потому что давным-давно в глаза его не видела... Дмитрий Андреевич был убежден, что Александра до войны и не подозревала о вражеской деятельности своего мужа.

– Как живешь-то... Шура? – спросил Дмитрий Андреевич.

– Как все живут, так и я...

– Младший-то твой, Игорь, так и не объявился?

– Тебе-то что? – холодно посмотрела она на бывшего му-

жа. – Игорек не имеет никакого касательства к своему баь-ке. Небось и не помнит его.

– Значит, жив?

– Откуда я знаю, – с затаенной болью вырвалось у нее. – Неужто начисто забыл мать? Был бы жив, уж, наверное, ка-кую-никакую весточку подал бы...

– До свидания, Шура, – Дмитрий Андреевич тронул «вил-лис», Александра чуть отступила и, все так же прямо глядя ему в глаза, уронила:

– Павел приехал, а ко мне глаз не кажет... Мать я ему али не мать?

В голосе не жалоба, не просьба повлиять на сына, а все та же затаенная боль. Двух сыновей родила Александра, и нет рядом ни одного: Игорь как сбежал из дома, так и сгинул, Павел, хоть и часто бывает в Андреевке, к матери не заходит. А ей самой гордость не позволяет переступить порог дома Абросимовых.

Подъезжая к дому, Дмитрий Андреевич вдруг подумал, что, если бы не развелся он с Шурой, может, все по-другому бы у них сложилось. Он до сих пор не знает, любил ли ее, но вот эта случайная встреча всколыхнула в его душе что-то да-лекое, волнующее... Горяча была Саша, ох как горяча! Даже пугала его подчас своей страстью. А Рая, наоборот, холодна, равнодушна. Живут рядом, а любви и понимания между ни-ми нет. Встретятся вечером дома – и поговорить не о чем, да и с дочерьми не найти ему общего языка. Оно и понятно,

девчонки тянутся больше к матерям. Что уж скрывать! Давно он понял, что чужие они с Раей... Понял, а вот живет, не в третий же раз ему жениться? Встречаются хорошие, умные женщины, но, как говорится, обжегшийся на молоке дует и на воду... Да и работа у него такая, что весь на виду. И честно говоря – наверное, возраст! – ничего уже и не хочется менять в своей жизни.

Хоть с сыном-то повезло. Особенно война, партизанский лагерь их сблизили. Говорят же – сердце вещает. И в мыслях не было сегодня завернуть в Андреевку, а вот потянуло.

Остановив машину, открыл дверцу и крикнул:

– Он придет! Ты жди... Шура.

Александра молча шла по обочине и смотрела под ноги, тяжелый узел волос подрагивал на голове. Из клеенчатой сумки, которую она несла, торчал розовый детский сачок на длинной ручке.

«Зачем ей сачок?» – размышлял Дмитрий Андреевич, подъезжая к дому.

### 3

– Там тухлая вода и какие-то длинные белые грибы растут, – вылезая из землянки, проговорил Павел. В руке у него грязная, залитая варом бутылка.

– Бутылка выдержанного самогона? – пошутил Дмитрий Андреевич.

– Под нарами валялась, – ответил Павел. – Помнишь, как такими штуками поджигали в сорок втором немецкие бронемашины?

– Подожди, кто же жил в этой землянке? – стал вспоминать Абросимов. – Вася Семенюк и Харитонов... А как звать, уже забыл.

– Кирилл, – подсказал сын.

– А от моей командирской землянки осталась одна воронка. Посмотри, на дне уже сосенка выросла!

– Мы с Вадькой и бабушкой жили между тех двух сосен. Там тоже воронка, – показал сын.

– Черное болото, – задумчиво глядя на колышущуюся на ветру осоку, проговорил Дмитрий Андреевич. – Если бы не мать, мы не переправились бы через него, – одна она знала тропу.

– А каратели побоялись идти за нами, – сказал Павел. – Я, помню, один шаг сделал в сторону – сразу по пояс провалился в «окно». Вадька помог выбраться.

– Пройдет еще десять лет – и от нашего лагеря не останется и следа.

– Ребятишки нашли за Утиным, озером сбитый «юнкере», – вспомнил Павел. – А здорово было бы его приволочь сюда! И хотя бы одну землянку сохранить такой, какой она была в войну.

– Займись, – сказал отец. – Экспонатов тут для партизанского музея хоть отбавляй.

– Музей в лесу? – усомнился Павел. – Все-таки далеко от Андреевки.

– Когда-нибудь люди по крохам будут собирать все, что осталось от войны, – проговорил Абросимов. – И позелевшая гильза станет ценным экспонатом... Потолкуй с поселковыми комсомольцами. Пусть собирают в лесу военные трофеи.

Павел смотрел в просвет между соснами, хмурил лоб. Сейчас он очень походил на отца.

– Трофеи... – пробормотал Павел. – Мы с Вадькой где-то тут неподалеку зарыли две цинковые коробки из-под патронов. Там немецкий бинокль, парабеллум, патроны, фляга, два ремня с белыми бляхами, ну которые фрицы носили...

– Вспомнишь, – заметил отец.

– Вадька зарывал, я стоял в стороне и наблюдал, чтобы никто не увидел... Кажется, я был вон там! Да нет, там стояла сосна с кривым суком. Ее что-то не видно.

– И мне ничего не сказали, – упрекнул отец.

– Ты бы отобрал парабеллум, – улыбнулся сын. – Да и Семенюк на него позарился бы. Он парабеллумы забирал для разведчиков.

– Отчаянный командир был, – вздохнул Дмитрий Андреевич. – И вас, чертенят, приучил к дисциплине.

– Ты прав, отец, – сказал Павел. – Мы откроем музей партизанской славы. Хотя бы ради памяти погибших.

«Виллис» стоял на травянистом бугре, неподалеку голубело небольшое лесное озеро. Солнце вынырнуло из-за облаков, и бор сразу просветлел, стал прозрачным и теплым. Красивый, голубой с розовым брюшком, поползень совсем рядом с ними скользил головой вниз по стволу.

Когда они вышли к Утиному озеру, Павел предложил купаться.

– Я еще в этом году не купался, – с сомнением ответил Дмитрий Андреевич, глядя, как ветер гонит рябь к берегу. Камышовые метелки гнулись, скрипели.

Павел сбросил тенниску, светлые брюки, покосившись на стоящего в нерешительности на берегу отца, выскользнул из трусов и в чем мать родила поспешно бухнулся в озеро, подняв тучу серебристых брызг.

– Здорово! – на все озеро крикнул он. – Вода терпимая, пап!

Светлые глаза сына смотрели на него, сверкали в улыбке белые зубы. Похож на него Павел, а ростом даже чуть выше. И в университете учится на историческом факультете, пошел по стопам отца...

– Эх, была не была! – пробормотал Дмитрий Андреевич. Быстро разделся и осторожно вошел в мелкую у берега воду. От ступней к коленям поползли мурашки – вода-то холодная! А сын плескался уже почти на плесе, где озеро было темнее, в нем отражалось большое овальное облако. Павел смеялся, что-то говорил, но Дмитрий Андреевич, набрав

в легкие воздуха, окунулся с головой и, отдуваясь, саженками поплыл к сыну. Ему вдруг тоже беспричинно стало весело, захотелось закричать что-нибудь озорное на все озеро, но сдержался: уже немолодой, вроде бы и неудобно.

Когда они, одетые, с мокрыми волосами, лежали на берегу, сын сказал:

– Помнишь, перед войной мы ходили с тобой за грибами – их тогда была прорва, – я тебя спросил, почему ты ушел от нас с матерью... – Он поправился: – Волоковой. И помнишь, что ты мне ответил?

– И что же я тебе ответил?

– Ты сказал, что ответишь на этот вопрос, когда я стану большим.

– И теперь ты знаешь, почему я развелся?

– Я и раньше догадывался, а теперь знаю: ты не смог бы с ней жить. Даже ради меня.

– А я иногда подумываю: может, зря я ушел от Александры... – вздохнул Дмитрий Андреевич. – С годами люди меняются.

– Ты думаешь, она стала лучше? – удивился сын. – Я не хотел бы, чтобы мой сын задал мне такой же вопрос.

– Есть вопросы, на которые может дать ответ только сама жизнь, – усмехнулся Дмитрий Андреевич.

Павел медленно водил черной пластмассовой расческой по густым волосам и смотрел на камыши. Они шевелились на ветру, над ними порхали тоненькие синие стрекозы.

– Я женюсь один раз и навсегда, – убежденно сказал Павел.

– Тогда не торопись, сын... Как говорит твоя бабушка: «Не тот богат, у кого много добра, а тот, у кого жена хороша». А ты так к ней и не заходишь? – спросил Дмитрий Андреевич. Хотя голос его прозвучал почти равнодушно, но Павел понимал, что для отца его ответ на этот вопрос много значит.

– У Волоковой тяжелый характер. Я не живу дома с войны, Игорь сбежал от нее в сорок третьем. И потом этот... Шмелев!

– Карнаков, – поправил отец.

– Выйти замуж за врага!..

– Она ведь этого не знала. Я хочу, чтобы ты был справедливым к ней, – твердо сказал Дмитрий Андреевич. – Она твоя мать. Знает, что ты приехал, будет переживать, а сама не придет к тебе.

– Ты говоришь, – не знала, что Карнаков шпион? – горячо заговорил Павел. – А потом? Когда узнала? Поехала под Калинин к нему! Говорят, даже батраки работали на ее усадьбе.

– Я ее не оправдываю, но и ты не забывай, что она малограмотная женщина, ни черта в политике не разбиралась...

– Бабушка Ефимья ни читать, ни писать не умеет, а ушла к партизанам и вывела нас через Черное болото! Если бы не бабушка Ефимья, я пропал бы, – произнес Павел. – Всю войну мы жили у нее с Вадимом, да и после войны. Она тебя не винила. Говорит, не было у тебя счастья... с Волоковой,

нет и с Раей.

– Мать скажет так скажет, – усмехнулся Дмитрий Андреевич.

– Ты сказал, что Волокова для тебя чужая... – задумчиво сказал сын. – Для меня – тоже. И ничего я с этим не могу поделать! Как увижу ее на улице, хочется поскорее перейти на другую сторону или юркнуть в чужую подворотню!

– И все-таки ты переломи себя, – посоветовал отец. – Что было, то быльем поросло. У нее ничего в жизни, кроме тебя да Игоря, не осталось. Неужели ты этого не понимаешь, черт бы тебя побрал?!

– Понимаю, но...

– Без всяких «но»! – прикрикнул отец. – Сегодня же сходи к ней, помоги что надо по дому, хоть дров наколи, что ли? Ты знаешь, как женщины умеют ненавидеть? – вдруг прорвало Дмитрия Андреевича. – Небо тебе покажется с овчинку, когда женщина пойдет войной на тебя... И для нее все средства хороши! Потому я ушел, Паша, что хотелось головой в омут! Ее любовь угнетала меня, а уж когда возненавидела – мне жизнь стала не мила. Люди радуются, когда едут домой на каникулы, а я ехал в Андреевку из Ленинграда по обязанности... И эти бесконечные попреки, сцены ревности, оскорбления, угрозы. Я думаю, она и замуж вышла за Карнакова, главным образом, чтобы досадить мне. Не верю, чтобы она его сильно любила.

– Почему она такая?

– Наверное, я отчасти виноват, – сказал Дмитрий Андреевич. – Других учил, воспитывал, а собственную жену не сумел перевоспитать... Это мне и покойный отец говорил.

– Ладно, я схожу к ней, – пообещал Павел и добавил: – Вадим обещал приехать. Все-таки добился своего: стал артистом! Играет чудаков разных. Даже в газете писали о нем.

– Он всегда был артистом, – улыбнулся Дмитрий Андреевич. – Артистом и поэтом.

– Бабушка блинов напекла, ждет нас, а мы тут прохлаждаемся, – спохватился Павел. Он проголодался и от одной мысли о горячих блинах со сметаной сглотнул слюну.

– Хорошо, что вы с Вадимом дружите, – поднимаясь с травы, сказал отец. – Вспоминает он своего родного отца – Кузнецова?

– Что-то не припомню, – подумав, ответил Павел. – Он ведь Казакова называет отцом.

– Федор Федорович – хороший человек, – сказал Дмитрий Андреевич. – Но родного батьку нельзя забывать. Иван Васильевич был храбрым командиром.

– Был?

– Ты разве не знаешь, что он погиб в Берлине? – удивился отец.

– Вадим говорил, что без вести пропал.

– Весть о себе он наверняка оставил... Мы еще о его делах услышим. Убежден, что фашисты за его смерть дорого заплатили. И Вадим может гордиться своим родным отцом.

– Интересная штука получается, – невесело рассмеялся Павел. – Отцы, которыми можно гордиться, бросают своих сыновей...

Дмитрий Андреевич взглянул на сына, но промолчал. Лишь подъезжая к дому, заметил:

– Не будь таким злопамятным, Павел! Чаще всего, когда семья распадается, оказываются виноватыми почему-то отцы... Я не хотел бы, чтобы ты был виноватым перед своими детьми!..

# Глава третья

## 1

Худошавый, с густыми рыжеватыми усами человек в замшевой куртке сидел в летнем открытом кафе, тянул из высокой кружки пиво и смотрел на летное поле. Пассажиры спускались по металлическому трапу с самолета, грузчики, открыв створки люка, укладывали на открытую платформу грузовика чемоданы, коробки, баулы. По серому асфальту к самолету неторопливо полз длинный серебристый бензоправщик. На трапе самолета надпись: «Interflug».

День был солнечный, и металлические части самолета, замки чемоданов, лобовое стекло заправщика и даже целлюлоидные козырьки шапочек техников – все сверкало, пускало во все стороны ослепительные зайчики. Берлинский аэропорт только что принял лайнер из Москвы. Когда последний пассажир сошел на землю, из салона показались пилоты в синей форме.

Человек поставил кружку, на пальце блеснул золотой перстень, теперь все внимание его было сосредоточено на высоком белокуром летчике с форменной фуражкой в руке. Тот спустился по трапу последним, о чем-то переговорил с техниками в серых комбинезонах и не спеша пошел к диспет-

черской. Человек поднялся, положил на стол с картонными подставками для кружек смятую ассигнацию и с радостной улыбкой направился навстречу пилоту.

– Боже мой, Бруно! – воскликнул тот. – Уж не с того ли света, братишка?!

Они обнялись, потом принялись хлопать друг друга по плечам, смеялись. Мимо проходили люди, не обращая на них внимания.

– Как ты меня нашел? – спросил Гельмут.

– Ты свободен?

– До завтрашнего утра.

– Посидим в кафе? – предложил Бруно. – Отличное пиво, уж думал, у вас, в Восточной зоне, разучились варить настоящее баварское!

– К черту кафе! – счастливо рассмеялся Гельмут. – Поехали ко мне, я тебя познакомлю с Клавой, Карлом, Любой...

– Кто же это такие?

– Я женился в России, – рассказывал Гельмут. – Как кто у нас родится, так скандал: Клава хочет дать новорожденному русское имя, а я – немецкое. Ну и договорились, что все мальчики будут иметь немецкие имена, а девочки – русские.

– Ты что же, надумал роту их настругать? – улыбнулся Бруно.

– Пока двое.

Бруно все-таки увлек его в кафе. Посетителей осталось мало, пассажиры все разошлись. В углу на игральном авто-

мате крутилась пластинка, исполнялись арии из итальянских опер. Бармен стоял за стойкой с кофеваркой и что-то записывал в толстую тетрадку. Полное лоснящееся лицо его было сосредоточенным.

– Я ездил в Мюнхен, вместо нашего дома – груда каменных развалин.

– Янки постарались, – помрачнел Бруно. – И мать, и отчим... одной бомбой их накрыло. И не только их...

– Где же ты пропадал? – перевел разговор на другое Гельмут.

– Долгая история, – усмехнулся Бруно. – Сдался американцам, был в Нью-Йорке, Аргентине, Монреале, недавно вернулся домой, в Западную Германию... Думаю в Мюнхене открыть пивную...

– Пошел по стопам отчима?

– Моя бывшая профессия сейчас не в моде...

– А я, как видишь, не изменил своему ремеслу, – поддел брата Гельмут. – Летаю.

– И часто бываешь в Москве?

– Не только в Москве, летаю в Прагу, Варшаву, Белград. Бываю и на западных маршрутах.

– Новая власть тебе доверяет!

– В сорок девятом вступил в СЕПГ, – сказал Гельмут.

– Здорово же тебя коммунисты обработали в России!

– Я там шесть лет прожил...

– Прожил или просидел в лагерях?

– Я работал... Мы столько натворили в этой стране, что и за сто лет не рассчитаться.

– Чем же ты собираешься с русскими рассчитываться? – пытливо посмотрел в глаза брату Бруно.

– Ни я, ни мои дети больше никогда не будем воевать против России, – твердо сказал Гельмут. – Я там многое понял, дорогой брат!

– Поэтому и прислал ко мне в Берлин в сорок третьем советского разведчика?

– Он сам захотел с тобой познакомиться, – насторожился Гельмут. – Кстати, что с ним произошло? Я с тех пор его не видел.

Бруно достал из внутреннего кармана куртки точно такой же золотой перстень, как у него на пальце, и протянул брату:

– Возьми и постарайся больше никому его не отдавать... – Он странно улыбнулся. – Я ведь подумал, ты им продался! И предал свою Родину.

– Какую ты имеешь в виду – бывшую нацистскую Германию или Советскую Россию? У нас ведь с тобой две Родины.

– А когда-то ты считал Советы врагом номер один!

– Так Гитлер научил нас. Он за нас думал и решал, что любить, а что ненавидеть. Мне до сих пор стыдно, что был таким идиотом!

– Я Гитлера никогда не считал великим стратегом, – сказал Бруно, – И еще в сорок первом знал, что мы потерпим от СССР поражение.

– Знал и помогал ему?

– Мы, немцы, – самая дисциплинированная нация...

– Знакомая песня! – ввернул Гельмут.

– Долг, честь, дисциплина для рядового немца превыше всего, – продолжал Бруно.

– Долг, честь... – горько усмехнулся Гельмут. – Ты видел Освенцим, Майданек, Маутхаузен? Сожженные русские деревни, разрушенные нашими бомбами города? Ты видел людей, живущих в землянках? Детей, голодных, с обмороженными руками-ногами? Когда-то мне было стыдно, что я наполовину русский, теперь мне иногда бывает стыдно, что я наполовину немец... Мы убивали, жгли в крематориях, заживо замораживали, как генерала Карбышева, даже убили сына Сталина, а они нам, немцам, восстанавливающим нами же разрушенные города, протягивали куски хлеба, когда мы строим возвращались с работы. Там я встретил Клаву... Я горжусь, что во мне течет и русская кровь. Это великая нация! Великая страна!

– Я осуждаю нацизм, – сказал Бруно, – но Германия должна быть единой – ты хоть это-то понимаешь, Гельмут? Это ненормально, что немцы живут в двух разных лагерях... Да вот возьми хоть нас с тобой: ты – восточный немец, а я – западный! И чувствую, что между нами ширится пропасть... Этого нельзя допустить! Нас осталось двое на целом свете, мы родные братья, Гельмут!

– Что ты от меня хочешь?

– Ничего, – улыбнулся Бруно. – Хочу посмотреть на твою жену, детей.

– Ты мне не ответил, что произошло с русским разведчиком, который передал тебе мой перстень.

– Неужели ты хотел, чтобы я изменил своему долгу? – взглянул на него Бруно. – И стал сотрудничать с русской разведкой?

– Ты выдал его?

– Я должен был это сделать, но...

– Ты подумал обо мне? – перебил Гельмут. Бруно секунду пристально смотрел в глаза брату, потом отпил из кружки, поставил ее на стол, улыбнулся:

– Конечно, я подумал о тебе. Арестуй я его, тебе бы, наверное, не поздоровилось там...

– И все-таки, что случилось с ним? – настаивал Гельмут. – У меня остались самые лучшие воспоминания об этом человеке. Может, после встречи с ним во мне и начался тот самый перелом, который заново перевернул всю мою жизнь.

– Ты хочешь знать, что с ним? – Бруно легонько стучал костяшками пальцев по столу, – Кузнецов был безусловно умным и храбрым человеком. Он мне честно рассказал, что ты отказался с ними сотрудничать, а перстень он у тебя взял на время и попросил меня вернуть его тебе...

– Он погиб?

– Я его видел всего один раз. Он пришел ко мне в форме эсэсовца, почти без акцента разговаривал по-немецки. Рас-

сказал о тебе, передал перстень и предложил работать на русских... Конечно, не сразу вот так в лоб, толковал о неизбежном конце нацизма, расплате вождей рейха за все злодеяния, причиненные народам Европы, бил на то, что во мне тоже течет русская кровь... Наверное, он во многом был прав, но не учел лишь одного: насколько он сам был предан своей родине, настолько и я – своей. Не мог я пойти, Гельмут, на предательство, хотя и понимал, что империя зашаталась и вот-вот рухнет. Думаю, что этот русский, Кузнецов, и сам бы меня в душе презирал. Короче, мне показалось, что быть крысой с тонущего корабля не пристало баронам фон Боховым... Кажется, он меня понял, по крайней мере, больше не искал встречи со мной.

– А что ему нужно было от тебя? – спросил Гельмут.

– Что нужно разведчику от разведчика? – усмехнулся Бруно. – Сведений секретного порядка, ценной информации, документов... Иметь в абвере своего человека! Ради этого Кузнецов мог и головой рискнуть! – Бруно неожиданно резко повернулся к брату, пронзительно взглянул в глаза: – Ты считаешь, что я должен был согласиться?

– Я сказал Кузнецову, что у него с тобой ничего не выйдет, – ответил Гельмут, выдержав взгляд брата. – И даже предупредил, что ты можешь его выдать.

– Зря он не послушался тебя, – спокойно заметил Бруно. – Планы у него, по-видимому, были грандиозные, не исключено, что он кое-чего в Берлине и добился. Не на одного же

меня он рассчитывал. Наверняка были у него здесь и другие люди. Красное подполье и все такое.

– Абвер его арестовал? – спросил Гельмут.

– Его не арестовали. Он погиб.

– И ты знаешь как? – произнес Гельмут, глядя в окно, где с ревом пошел на взлет лайнер. – Я почему-то верил в его счастливую звезду.

– Я не уверен, что он где-то дал промашку. Как раз в это время произошло покушение на Гитлера. Сам понимаешь, мне интересоваться его персоной было опасно, да, признать-ся, и не до него было: тут такие головы полетели! Пострадало и наше ведомство... Вот о чем я подумал, Гельмут. Ведь Кузнецову ничего не стоило меня погубить.

– Он-то смолчал, а вот ты?..

– Ты мне не веришь, Гельмут?

– Мне было бы очень неприятно узнать, что ты это сделал, – уронил Гельмут.

– Давай рассуждать логично, – миролюбиво заговорил Бруно. – После встречи со мной Кузнецов еще много насолил нам... И погиб как герой, поверь мне.

– Я верю тебе, Бруно.

– После двадцатого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года – дня покушения на Гитлера – расстреливали пачками генералов, высших офицеров... – Бруно задумчиво смотрел на брата. – Почему тебя так интересуется судьба этого человека?

– Ты не поймешь, Бруно, – крутя на пальце перстень, сказал Гельмут. – Жаль, что он погиб.

– А своих соотечественников тебе не жаль? – В глазах Бруно появился холодок, хотя голос был по прежнему ровный.

– Каких? Тех, кто вешал, расстреливал ни в чем не повинных людей, не жалко. Мы развязали вторую мировую войну, отправили на тот свет пятьдесят миллионов людей. Мне жалко таких, как я, обманутых пропагандой, отравленных нацизмом. Кем мы были в руках Гитлера? Оловянными солдатами!

– А то, что ты сейчас говоришь, разве не пропаганда? Русская пропаганда! Ну ладно, допустим, Гитлер почти всю нацию оболванил, зачем же ты теперь второй раз позволяешь себя оболванивать? И кем? Нашими кровными врагами. Не забывай, что советские танки грохотали по мостовым Берлина, гибли немцы и немки, дети и старики...

– Не преувеличивай, Бруно! – оборвал Гельмут. – Русские как раз гуманно относились к нам, и ты это отлично знаешь. Так что оставь в стороне детей и стариков. А что «наработали» эсэсовцы и гестаповцы, теперь известно всему миру. Наверное, и ты побывал в лагерях смерти? Посмотрел на крематории, горы волос, детской обуви и всего прочего, от чего у нормальных людей кровь в жилах стынет.

– Я тебе уже говорил, что нацизм мне претит, – сказал Бруно. – Хватит об этом, брат! Неужели у нас не найдется

других тем для разговора?

– Поедем ко мне, – спохватился Гельмут. – Жена ведь ждет!

Они расплатились и вышли из аэропорта. Гельмут подошел к стоянке машин у здания, взялся за руль мотоцикла.

– Лучше прокатимся на моей? – пригласил к новенькому, с западногерманским номером «мерседесу» Бруно.

Когда сели в машину, Гельмут то ли в шутку, то ли всерьез спросил:

– Тебя случайно не объявили разыскиваемым военным преступником?

– Со мной все в порядке, – насмешливо взглянул на него Бруно. – К банде фашистских преступников я не причислен, так что неприятностей тебе не доставлю.

– Я не это имел в виду...

– Я даже фамилию не изменил.

– Женат? Есть дети? – спросил Гельмут. – Помнится, ты еще в сорок втором собирался жениться... Кажется, на дочери генерала?

Бруно помолчал, на лбу его собрались неглубокие морщинки, на брата он не смотрел.

– У меня никого нет.

– Так женился ты или нет?

– Мы обвенчались в сорок втором, ее звали Густа, в сорок третьем она родила сына... Знаешь, как я его назвал? Гельмут...

– Значит, у меня появился племянник?

– Ты не даешь мне закончить, – ровным голосом продолжал Бруно. – В начале сорок пятого Густу и сына я отправил в Мюнхен к матери, – русские стремительно наступали, каждый день бомбежки, думал, там будет спокойнее... Ну и просчитался. Американцы превратили город в кладбище. В общем, никто в живых не остался – ни Густа, ни Гельмут, Во второй раз пока не женился.

– Воевал с русскими, а сильнее всего пострадал от американцев, – помолчав, заметил Гельмут.

– Американцы сейчас единственная наша надежда, – проговорил Бруно.

– Наша? – усмехнулся Гельмут.

– Все забываю, что ты член СЕПГ, – рассмеялся брат. – На улицу Карл-Маркс-аллее? В высотный дом с часами?

– Сразу видно, что ты бывший разведчик, – покосился на него Гельмут. – Наверное, знаешь, сколько денег у меня в сберкассе?

– Думаю, что и за десять лет в ГДР ты не накопишь необходимую сумму, чтобы купить «мерседес».

– У нас тоже есть свои автомобильные заводы, – сказал Гельмут. – А на «мерседес» я и не замахиваюсь!

– Наши фирмы на весь мир славятся, а вот чтобы в ГДР покупали автомобили, я не слышал, – подтрунивал Бруно. – Или вы в основном марксистскими идеями торгуете?

– А вы – нацистскими, – не остался в долгу Гельмут. –

Соскучились по новому Гитлеру?

– Сдаюсь! – рассмеялся Бруно, легко обгоняя довоенный черный «опель». – Я смотрю, ты стал опасным противником. . .

– А ты думал, приехал, прокатил меня на своем роскошном «мерседесе» – и я лапки кверху?

– Да ну ее к черту, политику! – сказал Бруно. – Мне до смерти хочется увидеть своих племянников! Конечно, и твою ненаглядную Клаву.

– Только не говори ей, что ты был абверовцем, – предупредил Гельмут.

– А что? Яду подсыплет в вино или кофе?

– Эсэсовцы сожгли в коровнике ее брата и мать.

До самого дома они молчали.

## 2

Вадим и Павел сидели на деревянном настиле железнодорожного моста, большой зеленый луг с редкими соснами и елями расстилался перед ними, за лугом – сплошной бор без конца и края. Над вершинами деревьев медленно багровело небо, солнце еще не село, оно укрылось в большом розовом облаке в ярко-желтом ореоле. Облако таяло на глазах, косые лучи вырывались из него, рассекали бор на просеки. Был тот предвечерний час, когда природа затихала, даже птицы одна за другой замолкали.

– «Юнкерсы» сбросили на этот мост, наверное, с десятков фугасок, но так и не попали, – сказал Вадим.

– Я помню, в Лысуге всплыла после бомбежки здоровенная щука, – проговорил Павел. – Ванька Широков ее зацепал.

– Про щуку не помню, – заметил Вадим.

– А как Игоря Шмелева вытащил из-под моста, помнишь?

– Где он сейчас? – задумчиво посмотрел на речку Вадим. – Связался с воришками, наверное, в тюрьму попал.

– Или под поезд, – вставил Павел. – От кого-то я слышал, что его видели в Ярославле. Кажется, в милицию тащили – у кого-то чемодан спер!

– Как же ты так о брате? – насмешливо посмотрел на него Вадим.

– Какой он мне брат, – нахмурился Павел. – Чужими мы были и мальчишками.

– Это война нас сделала злыми, – проговорил Вадим. – Тогда все было просто: кто против немцев, тот друг, а кто с ними – враг.

– А теперь? – пытливо заглянул ему в глаза Павел.

– Теперь? – сузил свои серые глаза Вадим. – Теперь враги затаились, попрятались, прикидываются друзьями. Небось читаешь в газетах, как карателей и полицаев разоблачают? Некоторые даже пластические операции сделали, чтобы их не узнали.

– Леньку Супроновича я под любой личиной узнал бы, –

помолчав, сказал Павел. – У него глаза как у волка... – Он потрогал пальцем голову чуть выше уха. – На всю жизнь оставил мне отметку.

– Это когда он молодежь отправлял в Германию?

– Я шел мимо комендатуры, а они там в карты резались, – стал рассказывать Павел. – Ленка и поманил меня пальцем, я подошел, а он развернулся и мне в ухо. Ни за здорово живешь! Наверное, проигрывал.

– А мне пинка дал немецким сапогом, – вспомнил Вадим. – Я летел через лужу и плечом изгородь у Широковых проломил.

– Редкая сволочь был!

– Был? – сказал Павел. – А может, он жив. Где-нибудь прячется.

– С фрицами утек, – заметил Вадим. – Он же знал, что его ждет. В Андреевке на сосне бы повесили, гада!

Было тихо, только слышалось комариное зудение, но вот в камышах крякнула утка, скрипуче отозвался угод, из-за той стороны насыпи послышалось протяжное мычание – стадо возвращалось с пастбища домой.

– Сходим на танцы? – предложил Павел.

– Не знал, что ты такой любитель, – посмотрел на него Вадим. – Ни один вечер не пропускаешь!

– Я думал, тебе интересно, – отвернулся Павел. – Ты же артист.

Вадим долго смотрел на речку, где крякали утки, лицо у

него было озабоченным, серые глаза сузились.

– Я разочаровался в этой профессии, – сказал он. – Пока репетируешь, премьеру – интересно, а потом каждый день одно и то же! Ладно, если роль приличная, а то пять минут на сцене, а потом два часа дожидаясь конца спектакля, чтобы вместе со всеми выйти на сцену и кланяться зрителям. Спектакли-то иногда заканчиваются в половине двенадцатого ночи. Почитать даже некогда...

– Только в этом причина? – пытливо посмотрел на него Павел.

– Как тебе сказать... – задумался Вадим. – Классику еще можно играть – Гоголя, Чехова, Островского. А тут нам местный драматург Рыжий...

– Прозвище? – перебил Павел.

– Фамилия – Рыжий, – улыбнулся Вадим. – И пьеса – рыжая. Ей-богу стыдно выходить на сцену и перед зрителями нести ахинею про бригадира, который не спал, не ел, а только думал, как свою бригаду вывести в передовые... Я там играл маленькую роль – слесаря Кремнева, попробовал экспромтом придумывать свой текст, так мне главреж влепил строгий выговор!

– Так и скажи: не поладил с начальством, – усмехнулся Павел.

– Уйду я из театра, – вздохнул Вадим. – Не по мне эта работа. Приклеиваешь чуть ли не столярным клеем усы, бороду, мажешь рожу гримом, напяливаешь на себя дурацкие

одежки... Хожу по сцене, а сам думаю: мол, поскорее бы кончалась вся эта канитель, прибежать бы поскорее в уборную, содрать бороду и кремом стереть грим... А режиссер толкует, что каждый артист должен чувствовать себя в образе. Не чувствую я себя в образе, Паша! Хоть убей, не чувствую. Дураком я себя на сцене чувствую, а он говорит: в таком случае, конечно, уходи из театра.

– Ты же мне присылал газетные вырезки, – стал урезонивать друга Павел, – тебя же хвалят, пишут, что талантливый!

– Может, две-три роли и хорошо сыграл, а сколько было безликих, проходящих!

– А как с институтом?

– Перешел на второй курс педагогического, – вяло ответил Вадим. – Кстати, театр и учебе мешает. Даже заочной. Как сессия, так у меня с дирекцией скандал! Не отпускают – и баста. Я ведь этим летом не поехал на гастроли, – началась сессия, – так директор второй выговор мне вкатил!

– Не имел права, – ввернул Павел.

– Уйду из театра, – повторил Вадим. – Ну его к черту!

– И куда же?

– Пошли на танцы! – рассмеялся Вадим и первым поднялся с настила.

\* \* \*

На освещенной тремя электрическими лампочками пло-

щадке, напротив дома Абросимовых, играл на аккордеоне быстрый фокстрот Кузьма Петухов. Парни и девушки гулко притоптывали в такт музыке, слышался смех. Снаружи, прижав к ограде носы, смотрели на танцующих мальчишки и девчонки, которых еще не пускали на площадку. Коренастый, с рыжим чубом над правым глазом, Кузьма, казалось, врос в табуретку, на которой сидел. Трофейный аккордеон на его коленях сверкал никелем, переливался перламутром, ловкие пальцы музыканта бегали по многочисленным пуговкам и клавишам. Резкие мощные аккорды, казалось, взлетали к самым звездам.

Кузьма был сыном погибшего на фронте баяниста Петра Петухова, – видно, от отца передалось ему это искусство, вон как ловко бегают его пальцы по кнопкам и клавишам!

Вадим с интересом смотрел на танцующих. Смотреть интереснее, чем танцевать. В театре он научился разным танцам, но желания войти в круг не испытывал. Народу на площадке набилось много, пары толкались, задевали локтями друг друга. Павел, почти на голову возвышаясь над всеми, танцевал с круглолицей голубоглазой девушкой в светлой кофточке с плечиками и в узкой коричневой юбке. Она едва доставала до плеча своему кавалеру. Девушка поднимала к нему лицо и, смеясь, что-то говорила. Тоненькая, стройная, глаза блестят. Она казалась школьницей, случайно попавшей сюда. Почти у всех девушек – короткая шестимесячная завивка, а у парней – полубокс с чисто выбритыми висками. В

городе женщины носят длинные платья и юбки, а до Андреевки, видно, мода еще не докатилась, здесь юбки были чуть ниже колен.

Девушку Павла звали Лидой Добычиной. Вообще-то она была Михалевой, но мать после смерти мужа снова взяла свою девичью фамилию. В поселке поговаривали, что Лида – дочь Леонида Супроновича, ведь ни для кого не было секретом, что старший полицай ходил к ее матери Любе Добычиной в любое время дня и ночи.

Павел смотрел на девушку влюбленными глазами. Он и танцевал только с ней. Его большая рука с нежностью обнимала Лиду за тонкую талию, ноги он передвигал медленно, будто боялся наступить на ее лакированные туфельки. Высокий медлительный Павел и маленькая живая девушка с детским личиком выглядели комично. Глядя на них, Вадим не смог скрыть улыбки. Ни Павел, ни Лида не смотрели на него, точнее, они вообще никого не замечали. В голубых глазах девушки отражались крошечные электрические лампочки, белые зубы сверкали в улыбке, тонкие подведенные брови изгибались дугой.

Вадим поймал на себе внимательный взгляд молодой темноволосой женщины, танцующей с плечистым железнодорожником. У того было сердитое лицо, форменная фуражка с молоточками надвинута на лоб, загорелые скулы так и ходили на его щеках. Женщина улыбнулась и кивнула, Вадим в ответ помахал рукой. Это была бабушкина квартирантка

акушерка Анфиса. Она снимала бывшую дедушкину комнату, оклеенную царскими ассигнациями. Высокая, с яркими подкрашенными губами и ямочками на белых щеках, Анфиса с утра до вечера пропадала в амбулатории и больнице, даже обедать домой не приходила. Когда Вадим поинтересовался, что за человек квартирантка, Ефимья Андреевна коротко ответила: «Есть сердце, да закрыто дверцей... Сердце не лукошко, не прорежешь окошко». Вадим так и не понял, как относится к Анфисе бабушка. Раз живет у нее уже третий год, значит, ладят. Квартирантке лет двадцать пять, лицо у нее круглое, глаза карие, губы пухлые, улыбчивые. Вот и сейчас танцует с сердитым железнодорожником и чуть приметно улыбается. Чего это он рассердился? И на кого?

После небольшого перерыва объявили дамский танец. К Вадиму сразу же подошла Анфиса, пригласила.

– Скучаешь тут у нас, артист? – спросила она.

В танце женщина взяла инициативу в свои руки. Как Вадим ни старался соблюдать дистанцию, их то и дело прижимали друг к другу, горячее дыхание волновало его, карие глаза смотрели весело, с вызовом. Железнодорожник ревниво наблюдал за ними, тогда Вадим назло ему увлек Анфису на середину площадки, Кузьма Петухов играл медленное танго, этот танец нравился Вадиму. У него даже сердце замирало, когда его нога в танце мягко касалась ее бедра. Еще несколько минут назад он и не думал об акушерке, даже не знал, что она на танцах, а сейчас испытывал такое ощущение, будто

сто лет с ней знаком. Она как-то сразу, естественно перешла с ним на «ты». Раз или два он назвал ее на «вы», потом тоже перешел на «ты».

– Вадик, у тебя есть девушка в городе? – улыбаясь, спрашивала Анфиса. – Небось артистка?

– Последний мой роман был с Диной Дурбин, – в тон ей скромно заметил Вадим.

– Кто это такая?

– Ты не знаешь Дину Дурбин? – искренне удивился Вадим. – Главная героиня из американского кинофильма «Сестра его дворецкого»!

– А-а, – небрежно протянула Анфиса. – Она мне не нравится.

В это Вадим никак не мог поверить: все фильмы с участием Дины Дурбин пользовались в Великополе успехом. У женщин и мужчин.

– А Целиковская тебе нравится? – спросила Анфиса. – Или Любовь Орлова?

– Артистки меня не привлекают, – пижоня, небрежно ответил он.

– Кто же тебе нравится, герой-любовник? – сузила блестящие глаза Анфиса. Она как-то непонятно улыбнулась. Вадим обратил внимание, что спереди ее зубы сильно разрежены.

– Акушерки, – не подумав, брякнул Вадим. Однако женщина не обиделась, весело рассмеявшись, сказала:

– Пойдем вместе домой, ладно?

– А... тот товарищ? – кивнул Вадим в сторону мрачного железнодорожника, курившего на скамье.

– Укус? – смеясь, произнесла она. – Он надоел мне хуже горькой редьки!

– Укус, редька... – пробормотал Вадим. – А я кто?

– Морковка! – горячо шепнула она и посмотрела в глаза.

Танец кончился. Кузьма поставил сверкающий аккордеон на табуретку и пошел к ограде покурить. Инструмент пускал в глаза желтые зайчики. Нахальная летучая мышь спикировала со звездного неба прямо на аккордеон и снова резко взмыла вверх.

– Станцевал бы хоть раз, – сказал Павел Вадиму, когда тот к нему подошел. Двоюродный брат невидяще смотрел прямо перед собой и курил.

– Никак влюбился, Паша? – засмеялся Вадим, подивившись, что тот не заметил его с Анфисой, ведь они два или три раза носом к носу столкнулись на площадке.

– Она славная, – рассеянно ответил Павел.

– Лидка-то? Да она тебе по пуп!

– Разве дело в росте? Она человек хороший.

– Паша, ты пропал! – ахнул Вадим. – Ты никого не видишь, кроме Лидки Добычиной. И рожа у тебя глупая-глупая!

– Очень даже не глупая, – думая о своем, сказал Павел. – Вот всегда так! – вдруг рассердился он. – Не знаем человека, а наговариваем на него... Будто мы сами закон для всех и

совесть!

– Да я не про нее! – Вадим давно не видел Павла таким возбужденным, обычно его трудно было расшевелить, а уж разойдется – не остановишь.

– Выходит, я дурак? – гневно взглянул Павел на приятеля.

– Паша, я буду шафером на твоей свадьбе, – широко улыбнулся Вадим.

– Свадьба? – вытаращил на него глаза Павел. – О какой свадьбе может быть речь, если я еще не закончил университет? Да и она еще учится в школе.

– Везет же людям – влюбляются, – вздохнул Вадим. – А я пуст и холоден! – Последние слова он произнес с ноткой самолюбования. – На концертах я иногда читаю Пушкина...

В дверях Эдема ангел нежный  
Главой поникшею сиял,  
А демон мрачный и мятежный,  
Над адской бездною летал...

– Посмотреть бы на тебя на сцене, – сказал Павел. Суровые складки на его лице разгладились. Стихи он прослушал с вниманием, да и стоявшие поблизости парни и девушки с интересом поглядывали в их сторону.

– Не придется тебе больше увидеть меня на сцене, – проговорил Вадим. – Вернусь в Великополь и подам заявление. Прощай, театр! – И еще раз, громче, с выражением, прочел:

Артист, поверь ты мне, оставь перо, чернила,  
Забудь ручьи, леса, унылые могилы,  
В холодных песенках любовью не пылай;  
Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай!

Пришел Кузьма Петухов и снова взялся за аккордеон. Павел поспешно направился к появившейся на площадке Лиде Добычиной. Вадим стал искать глазами Анфису, но ее нигде вроде не видно было. Он уже подумал было податься к дому, как акушерка сама подошла к нему.

– Потанцуем? – запросто предложила она.

– Не хочется, – отказался Вадим.

– Честно говоря, и мне не хочется, хоть ты и артист, а на ноги как слон наступаешь... – отомстила она.

– Ты изволишь шутить, герцогиня, – улыбнулся он.

– Это из какой пьесы?

– Шекспир, – не задумываясь, брякнул он.

Они вышли на улицу, звезды мерцали на небе, луна стояла над водонапорной башней, обливая серебристым светом деревянную крышу.

– Прогуляемся немного? – сказала Анфиса, властно беря его под руку. – Почитай мне стихи...

– Кого ты любишь? – поинтересовался он.

– Никого, – вздохнула она. – Не везет мне в любви.

– Я тебя спрашиваю: кто тебе из поэтов нравится? – рассмеялся Вадим. – Пушкин, Лермонтов, Есенин? Или Тихонов, Твардовский, Симонов?

– «Жди меня, и я вернусь...» – вспомнила она строку из Симонова.

Вадим подхватил и с выражением прочел популярное в то время стихотворение. Потом декламировал отрывки из Блока, Есенина, Пушкина. Однако скоро выдохся и замолчал. Не так уж много стихов он помнил наизусть.

– Ты всем девушкам читаешь стихи? – спросила Анфиса.

– Тебе – первой, – солгал он.

Они пошли вдоль заборов в сторону водокачки. Людской шум за спиной становился все глуше, лишь резкие звуки аккордеона вспарывали тишину.

– А где же твой Укус? – поинтересовался Вадим. – Почему он нас не преследует? Не бьет мне морду?

– Его звать Вася, – улыбнулась она. – Это я его Укусом прозвала.

– А меня как?

– Артист!

– Богатая у тебя фантазия...

– Живем в одном доме, а как чужие, – негромко произнесла она.

Он почувствовал, что локоть ее прижался к его боку. Смотрела она себе под ноги, и он обратил внимание, что ресницы у нее пушистые.

– Бабушка говорит, что сердце не лукошко, не прорежешь окошко.

– Это она про меня? – сбоку взглянула на него Анфиса.

– Я думаю, это ко всем относится.

– Ты знаешь, что твоя бабушка умеет лечить?

– Тут одна бабка жила, ее звали Сова, настоящая колдунья была, – вспомнил Вадим. – Могла запросто приворожить девушку к парню, и наоборот. Года три как умерла.

– Глупости все это, – вздохнула Анфиса. – Если сердце к кому не лежит, и ворожба не поможет. – Она снова поптичьи взглянула на него: – Вот ты стал бы привораживать к себе девушку, которая тебя не любит?

– Меня никто не любит, – вырвалось у него. – Да и я никого не люблю.

– Вы только посмотрите, какие мы демонические! – рассмеялась она. – Какие мы все из себя таинственные, такие-разэтакие! Ну прямо Печорин!

– Ты Лермонтова читаешь?

– Мы в лесу живем, пню молимся, лаптем щи хлебаем... Куда уж нам до вас уж! Больно занозишься, артист! Будто сам не жил тут и в школу не бегал!

– Я тут партизанил, – не удержался Вадим.

– Наслышаны... Знаю даже, что награды имеешь. А почему не носишь на груди?

– Не верят, что мои, – засмеялся он. – Раз даже в милицию забрали и потребовали показать документы. Это когда еще в восьмом учился.

– Вы с Павлом ровесники?

– Он старше. – Вадим повернул к ней голову: – Нравится?

– Такой большой, а выбрал себе на танцах самую маленькую девушку.

– У нас в театре один артист сам маленький, толстенький, головастик такой, а жена у него здоровенная тетенька, почти на две головы выше его. Готов на руках ее носить, да вот беда – не поднять!

– А ты меня поднимешь? – стрельнула Анфиса веселыми глазами.

Она и охнуть не успела, как очутилась на руках юноши. Вадим пронес ее метров двадцать и осторожно опустил.

– Да ты силач! – подивилась Анфиса. – Меня не каждый поднимет.

А он молчал, с трудом подавляя рвущееся из груди учащенное дыхание. Слабо кольнуло в сердце. Кажется, она не заметила, что он запыхался. Шла рядом и улыбалась, и снова он увидел в нижнем ряду зубов щербинку. «Зря не поцеловал, – подумал он. – А может, поцеловать?» Но почему-то не решился. И, злясь на себя за робость, стал что-то насвистывать. В партизанах ничего не боялся, а тут женщину испугался поцеловать! Он уже не раз ощущал охватывающую его непонятную робость как раз тогда, когда нужно было проявить напористость. Случалось, увидит на улице симпатичную девушку и вместо того, чтобы с ходу с ней познакомиться, тащится позади до самого дома, но так и не рискнет заговорить. Сколько раз читал в глазах девушек откровенную насмешку. Он, конечно, знал, почему не решается загово-

ритель с незнакомой девушкой. Это не трусость, совсем другое... Знал, что, если незнакомка резко ему ответит, у него потом настроение будет на весь день испорчено... А вот артист Герка Голубков, ровесник Вадима, мог запросто с любой заговорить, познакомиться. Он не будет тащиться через весь город за понравившейся девушкой. Наверное, тут тоже нужен особый дар. А ведь артист-то Герка средненький, играет в театре лишь эпизодические роли. А послушаешь, как он рассказывает о себе незнакомкам, так по крайней мере заслуженный артист республики!

– Хорошая у тебя бабушка, – заговорила Анфиса. – Ты у нее любимый внук. Часто тебя вспоминает.

– Какой я был непутевый? – улыбнулся Вадим. – И называет наворотником?

– Говорит, был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля.

– На что это она намекает?

– Иногда так мудрено скажет, что голова распухнет, а так и не сообразишь, что она имела в виду, – сказала Анфиса. – Говорит, в театре ты долго не удержишься, другая у тебя дорога..

Вадим только подивился про себя проницательности бабушки, ему она об этом ничего не говорила, хотя он знал, что к его увлечению театром она отнеслась отрицательно, не считала это настоящим делом, а так – блажью.

– Про какую же дорогу она толковала? – поинтересовался

он.

– Про то мне не сказала, – ответила Анфиса. – Да и тебе не скажет.

После смерти бабки Совы односельчане потянулись к Ефимье Андреевне. Вадим не раз уходил из дома, когда приходили к ней соседки и, крестясь на образа, начинали шептаться с бабкой. Видел он в кладовке на стене пучки сухих трав, разную сушеную ягоду в мешочках. Ворожить Ефимья Андреевна не ворожила, а вот травами и настояками лечила людей и скотину. Вадим поражался, как точно она определяла по каким-то только ей одной известным приметам, какая будет завтра погода. Если сказала, что зима будет холодной, а лето сухим, жарким, то так оно и случится. Упадет нож на пол – Ефимья Андреевна негромко проговорит: «Жди гостя, мужик заявится!» И точно, кто-нибудь приходил. Ягодные и грибные места она знала в Андреевке лучше всех. Но вот была у нее одна странность: не могла себя заставить сесть в поезд. За всю свою жизнь она ни разу не покинула родной поселок. Сколько бы ее дочери или сын ни приглашали в гости, она всегда отказывалась, говорила, что у нее самой дом большой, вот, мол, и приезжайте, живите тут, это и ваш дом, а ей «крянуться» с места, как она выражалась, недосуг, да и не любит она ездить к родственникам: в гостях хорошо, а дома лучше.

Вадим тонким прутом откинул крючок с засова, через хлев они прошли в сени, из узкого окошка падал на пол го-

лубоватый лунный свет. Он слышал совсем рядом дыхание Анфисы, касался то плечом, то рукой ее тела, снова пришло жгучее желание обхватить ее тут, в сенях, и поцеловать, он даже остановился, пошарил руками, но девушки не оказалось рядом. На цыпочках они прошли мимо русской печки, на которой спала Ефимья Андреевна. Анфиса юркнула в свою комнату, не притворив за собой белую дверь, Вадиму было постелено на кухне у окна. Когда его глаза привыкли к сумраку – лунный свет гулял по полу, стенам, – он, уже лежа на железной койке, в щель увидел, как молодая женщина, сидя на постели, раздевается: закинув обнаженные руки, стащила с себя кофту, затем нагнулась и стала спускать с ног шуршащие чулки. Она потянулась, встряхнула головой, и на миг ему показалось, что взгляды их встретились. Щекам стало жарко; облизав горячие губы, он хрипло сказал:

– Спокойной ночи.

Она негромко ответила:

– Какая нынче красивая ночь...

– Тебе не холодно? – с трудом выдавил он из себя глупые слова.

Она тихонько рассмеялась:

– Согреть хочешь?

И не поймешь – в голосе призыв или насмешка.

– Возьму и приду... – чуть слышно произнес он. Она долго молчала, наверное, не расслышала. Ее кровать чуть слышно скрипнула, она зевнула:

– Ты, наверное, и целоваться-то не умеешь?

– Я даже на сцене целовался.

– То на сцене.

Ее тихий грудной смех бросил его в дрожь. Он понимал, что нужно встать и на цыпочках преодолеть каких-то несколько шагов до ее кровати. Бабушка спит, слышен с печи ее негромкий храп... А вдруг оттолкнет, рассмеется в лицо? Он тогда до утра не заснет от стыда и как завтра посмотрит ей в глаза? Нужно будет бежать на вокзал и брать билет до Великополя!

– Можно, я приду к тебе? – хрипло произнес он и даже зажмурился, дожидаясь, что она скажет.

– Ты меня спрашиваешь? – немного погодя, насмешливо отозвалась она.

– Можно без спросу? – слушая свое бухавшее в груди сердце, спросил он. Ну что стоит ей сказать: «Да!»

– Боже мой, ты еще совсем мальчик, – тихонько засмеялась она.

А ему захотелось крикнуть ей, что это не так, он обнимал и целовал в Харькове Богданову Люду. Он понимал, что слова излишни: нужно немедленно встать, подойти к ней, лечь рядом и властно прижать к себе! Однако ноги налились свинцовой тяжестью, голову не оторвать от подушки, неистовое желание распирало его, душило...

– У тебя кровать узкая... – сами собой вырвались у него дурацкие слова.

– Твоя бабушка еще считает тебя умным! – насмешливо произнесла она, будто вылив на него ушат холодной воды. – Дурак ты, артист! У тебя еще молоко-то на губах не обсохло... – Встала и, шлепая по половицам босыми ногами, плотно закрыла белую дверь в свою комнату.

Чуть не плача от злости на самого себя, он почти до утра проворочался на жесткой койке. Один раз он встал, подошел к двери, но так и не решился открыть ее. Наверное, перед самым рассветом он еще раз повторил свою попытку, но тут на печи заворочалась Ефимья Андреевна, и он поспешно юркнул под свое одеяло.

Когда он утром раскрыл глаза, бабушка сидела за столом, медный самовар пускал в потолок пары, в резной хрустальной сахарнице белели наколотые кусочки сахара. Держа блюдце в растопыренных пальцах, Ефимья Андреевна с улыбкой посмотрела на него и сказала:

– Сон милее отца и матери. Кому и подушка милая подружка!

### 3

Перед отъездом в Ленинград Павел Абросимов с чемоданчиком зашел попрощаться к матери. Было часов девять вечера, а поезд прибывал в Андреевку ровно в двенадцать. В прошлые приезды Павел останавливался у Ефимьи Андреевны, а в этот раз уговорил его остаться у них Иван Широ-

ков. У матери он был всего два раза: помог напилить дров, починил крышу в сарае, сколотил для кроликов пару клеток. Разговаривали они мало, все больше о хозяйстве да о погоде. Павел не чувствовал к ней никаких родственных чувств, приходил так, по обязанности. Да и Александра не проявляла к нему особенной любви, она всегда была к детям сдержанна. Даже когда Павел вручил ей красивый, в цветах платок, скупо кивнула и равнодушно убрала в комод. Она не спрашивала его про жизнь в Ленинграде, а он сам ничего не рассказывал.

Поднявшись на крыльцо, Павел потянул за ручку, но дверь оказалась на запоре. Это его удивило: обычно мать не закрывалась в эту пору. Мелькнула мысль повернуться и уйти, но что-то его остановило. Он постучал, потом сильнее и, наконец, нетерпеливо загрохотал в дверь носком ботинка. Дверь в сени распахнулась, прошлепали по полу, заскрипел засов. Лицо матери было оживленное, глаза светились, щеки покраснелись. «Уж не прикладывается ли к бутылке? – неприязненно подумал Павел. – Вроде на нее не похоже. Сроду вина не любила...»

– Чего запираешься-то? – спросил он. Мамой он ее не называл, язык почему-то не поворачивался.

– Поясницу с вечера заломило, вот пораньше и собралась лечь.

– Я вообще-то попрощаться, – проговорил Павел, раздумывая, заходить или нет.

– Чайку-то хоть попей, – пригласила мать. – Я тебе кое-что сготовила в дорогу.

Он оставил чемодан на крыльце и прошел за ней в дом. На кухонном столе невымытая посуда с остатками еды, вроде бы пахло табаком. «Неужто на старости лет мужика завела?» – подивился про себя Павел. Будто прочтя его мысли, мать усмехнулась:

– Свет погас, пришлось монтера звать, а он без бутылки и зад не оторвет от табуретки.

Она быстро поставила самовар, принесла из кладовки снедь. Прижимая к полной груди буханку, большим ножом с деревянной ручкой нарезала хлеба, достала из буфета початую бутылку «московской», рюмку.

– Кто монтер-то? – просто так спросил он, без всякого желания усаживаясь за стол. Вчера Вадима Казакова провожали в Великополь, сегодня уже отметили с Иваном его отъезд, и вот опять за стол... К спиртному он не тянулся. Мать поставила перед ним одну рюмку, значит, напрасно он в мыслях грешил на нее.

– Лешка-лектрик, раньше жил в Кленове, – ответила мать, пододвигая ему соленые грузди.

«Для Лехи достала из подпола грузди...» – подумал Павел, вспоминая Лешку Антипова, с которым в детстве как-то раз подрался. Парень крепкий, вот только ростом не вышел. Лицо у него всегда красное, – любит выпить, – рот большой, зубы лошадиные, в плечах широкий, а короткие ноги кри-

вые. Кажется, он женат на старшей дочери Лидки Корниловой, такой же длинной и тощей, как мамаша. Как же звать ее? Нонна или Надя? Видел на танцах, здоровался, а как звать, забыл.

– Когда снова то приедешь? – спросила мать, усаживаясь напротив.

– Как звать старшую дочку Корниловых? – думая о своем, поинтересовался Павел.

– Анютка... Приглянулась, что ли?

– Она выше Лешки-электрика на голову...

– Ты тоже облюбовал себе краю, едва до плеча достает, – подковырнула мать.

«Вот деревня! – усмехнулся про себя Павел. – Все уже знают».

– Хорошие грузди, – пробормотал он, выпив рюмку и закусив сизым, будто отлакированным, грибом.

– Аль в Питере-то не нашлось подходящей девки? – выпытывала мать. – Зачем тебе нашенскую, деревенскую? Тебе надо, как батьке, городскую, ученую...

– Кто знает, что нам нужно? – глядя в окно, сказал он.

Почему-то всем всегда все ясно, что тебе нужно и как лучше поступить. Даже тем, кто сам свою жизнь не смог по-человечески устроить... Лида Добычина неглупа, начитанна. Ее мечта – стать театральным режиссером. Такая маленькая, хрупкая, а гляди – замахнулась на серьезную мужскую профессию! Ну разве можно представить ее в зрительном зале

на репетиции с актерами? Кто ее будет слушаться? Вадим Казаков сделал такое уморительное лицо, когда она заявила, что будет режиссером, что Павел от души расхохотался. По том Вадим сказал ему, что в театральном искусстве она «шурупит».

– Мое дело маленькое, а только Лидка Добычина тебе не пара, – заметила мать, наливая в чашки крепко заваренный чай.

– Про Игоря так ничего и не слышно? – спросил Павел.

– Сгинул мой Игорек, такое время страшное было... – Она тяжело вздохнула. – Да и я, видать, виновата. Ну что поделаешь, коли я такая неласковая вам мать? Меня ведь жизнь тоже не баловала: нас было у матушки десятеро. В пять лет уже стирала, а в одиннадцать коня с сохой вдоль борозды водила.

– Ты со Шмелевым жила, – не удержался и упрекнул сын.

– Неужто я никогда не замолю свой грех? – помолчав, ответила она. – Видно, бог простит, а люди – нет. Сын-то родной и тот волком глядит!

– Ты хоть знала, что Карнаков-Шмелев – враг?

– У него на лбу не написано было. – Горькая усмешка искривила губы матери. – Он мне муж... И если хочешь знать, Григорий был мне лучшим мужем, чем твой родной батька!

– Пойду я, – поднялся Павел.

– До поезда еще не скоро, – взглянув на ходики, сказала мать.

– Может, зимой на каникулы приеду, – сказал он. – Чего

тебе привезти?

– Белых сушек к чаю, – ответила мать.

– И всего-то? – удивился он.

– У меня все есть, хоть и без мужика живу, – с гордостью сказала мать.

Она проводила его до калитки, ни он, ни она не сделали попытки ни обняться, ни поцеловаться, даже руки не пожали друг другу.

– Пока, – сказал Павел.

– Ты бы не околачивался у людей-то, – упрекнула мать. – У тебя свой дом есть.

– Наверное, к ночи дождь ударит, – сказал Павел, глядя на узкие тучи над бором.

– Я уж не иду на вокзал, небось там провожальница ждет тебя?

Павел закрыл за собой калитку, подергал за ручку.

– Забыл петли заменить, на честном слове держатся, – сказал он и, не оглядываясь, зашагал вдоль ряда домов.

Александра Волокова, опустив полные руки, смотрела ему вслед, в светлых глазах ее не блеснуло и слезинки. Закрыла калитку на железную щеколду, внимательно поглядела на пустынную улицу. В домах уже засветились огни.

Когда она вернулась, с чердака слез рослый седоволосый мужчина. У него была борода, к ней прицепился клочок пыльной паутины. Человек сам задвинул в сенях засов в скобы, вошел вслед за женщиной в избу. Александра плотно за-

навесила окна, стол пододвинула к самой стене, чтобы с улицы было не видно.

– Чего это он к тебе вдруг ходить стал? – усевшись в темном углу на крашеную табуретку, ворчливо проговорил он.

– Одолжение делает, – усмехнулась Александра. – Со мной почти не разговаривает, постучит молотком или топором – и вон со двора. Ни разу дома не переночевал. Родной сын, а тепла между нами нету.

– Здоровенный вымахал, но до деда, Андрея Ивановича, ему далеко.

– Ненавижу я всю их абросимовскую породу, – со злостью вырвалось у Александры. – Ефимья проходит мимо – вроде меня и не видит. У-у, вредная! И внук ее Вадька такой же: за версту обходит... Это они с Пашкой Игорька отсюда выгнали!

– Из-за меня? – закуривая папиросу, спросил мужчина.

– Зря ты сюда приехал, – сказала она. – Хотя обличье у тебя и другое, а узнать можно. Чего бороду-то, как поп-расстрига, отпустил?

– Не могу я без тебя, Саша, – негромко произнес он. – Живу, как волк в логове. Днем ладно, а ночами ты передо мной маячишь как наваждение! Знаю, что головой рискую, а вот не смог, приехал в эту проклятую Андреевку!

– Промахнулся ты, выходит, Ростислав Евгеньевич? – насмешливо бросила она на него взгляд. – Мне-то толковал, когда немцы заявили, что Советской власти конец на веки

вечные, а вон как оно все повернулось! Гитлер сгинул, а в Германии строят социализм?

– Две Германии есть, Саша, две. В одной социализм строят, как ты говоришь, а в другой – оружие куют, чтобы его свергнуть.

– Что ж, опять война?

– История еще свой окончательный приговор не вынесла.

– Тебе бы на печке бока греть, а ты еще на что-то надеешься, – рассудительно заметила она. – Чего с немцами-то не ушел?

– Я – русский, Саша, – произнес он. – И без России не могу.

– Зато она без таких, как ты, обходится... Что вы людям-то дали – войну, голод, разруху. Да что говорить... Какую теперь фамилию-то носишь?

– Для тебя я – Ростислав Карнаков.

– Не думала не гадала тебя больше увидеть! Как снег на голову...

– Может, последний раз свиделись, – с грустью произнес он. – Продай ты, Саша, дом, хозяйство – и со мной! – Карнаков и сам не верил тому, что говорил.

– Какая же это будет жизнь? – жалостливо посмотрела она на него. – Вечно в страхе? Когда Андреевку освободили, сколько раз меня в НКВД таскали, все про тебя пытали... Слава богу, оставили в покое, рази я пойду снова на такое? Ищут тебя, Ростислав, не забыли. И Леньку Супронови-

ча ищут. Многих уже нашли и судили. А этот Костя Добрынин сам властям сдался. Его еще в войну немцы на самолете скинули под Москвой, а он сразу в НКВД. Недавно вернулся домой, малюет разные плакаты к праздникам. Женился на Марийке, дочке бывшего председателя поселкового Совета Никифорова. Дом построил в Новом поселке, работает на стеклозаводе... – Она взглянула на Карнакова: – Может, тебя тоже простят, ежели пойти к ним добровольно?

– Даже если и не поставят к стенке, так все равно моей жизни не хватит свой срок отсидеть, – горько усмехнулся он.

– Так один на старости лет и будешь по стране мыкаться?

– Такова моя судьба, – сказал он.

– И я одна...

– У тебя Павел, – вставил он.

– Павел чужой, а Игорька не уберегла... – На глазах ее закипели слезы. – И где могилка его, не знаю. Мой грех, каждый день богу поклоны бью, только простит ли? Копила, наживала добро, а теперь ничего не надо...

В Карнакове на миг шевельнулась жалость: сказать ей, что Игорь жив-здоров? Он тут же отогнал эту мысль. Никто не должен знать, что Игорь жив. Даже мать... Еще там, под Москвой, в 1943 году он внушил сыну, что при случае нужно наведаться в Андреевку и уничтожить все фотографии.

Александра заглянула в глаза и, будто прочтя его мысли, сказала:

– Кто-то был в доме и взял твои и Игоря фотографии... Я

уже подумала – не он ли, не Игорь?

– Мой человек это сделал, – помолчав, ответил Ростислав Евгеньевич. – Так надо было.

– Не принес и ты мне счастья, Ростислав, – вырвалось у нее. – Неужто так век одной и куковать?

– Поехали со мной? – предложил он. – Раньше добро, хозяйство держало тебя, а теперь-то что? Не думаю, чтобы за тобой следили. Столько лет прошло! А у меня, Саша, документы надежные. Снова оформим брак...

– Во второй раз? – сквозь слезы улыбнулась она.

– Затаился я, никаких дел с ними... не имею сейчас, – уговаривал он. – Денег нам с тобой до конца жизни хватит, работа у меня не бей лежачего: заготовитель я грибов и ягод. Сам хозяин своему времени.

– Вон в газетах пишут: то полиция, то карателя где-нибудь сыщут – и держи ответ перед народом, – возразила она. – Ты вон бороду отрастил, а есть такие, что операции на лице делают, чтобы мать родная не узнала, так ведь все равно находят... Да и тебя эти... твои не оставят в покое. Сам посуди, к чему мне такая жизнь? Под Калинином в войну тряслась от страха, что на чужое добро позарилась, вернулась в Андреевку, ночи не спала, все ждала, когда придут за мной... Вроде бы жизнь стала налаживаться, перестали от меня в поселке люди, как от чумы, шарахаться, вон Павел, когда тут, нет-нет да и зайдет... И ты снова хочешь мою жизнь загубить? Ладно, раньше не знала, кто ты такой на самом деле, а тепе-

ры? Да я со страху в твоей берлоге помру! Хотя я ни в чем таком перед Советской властью не виноватая, но во второй раз и мне не простят, что с тобой снова связалась... Уходи, Ростислав, от греха подальше! Видать, не судьба нам быть вместе.

– Не любила ты меня, Александра, – только и вымолвил он.

– А и себя-то никогда не любила, родный, – вздохнула она, вытирая кончиком платка слезы в уголках глаз. – Такая уж каменная уродилась.

– Отчего бабка Сова умерла? – спросил он.

– От чего люди умирают? Кто от болезней, кто на войне, а Сова от старости. Какая ни на есть была хорошая колдунья, а больше, чем бог годов отпустил, и себе не наколдовала. И так, слава богу, лет девяносто прожила.

– А Тимаш жив?

– Как молоденький, от магазина до буфета бегают, и нос вечно красный! Этого и года не берут, видно, с самим чертом повязался... Бахвалится, что он Андрею Ивановичу помогал и этому... Кузнецову.

– Не объявлялся здесь Кузнецов?

– Слыхала, что он погиб в неметчине. А коли и жив бы был, что ему здесь делать? Тонька с Казаковым в Великополе, Вадька, наверное, его забыл.

– Сынок-то не пошел по батькиным следам?

– Вадька-то? В артисты записался... – усмехнулась Алек-

сандра. – И смех и грех! Сколь здесь живу, ни одного еще артиста в Андреевке не было.

– Костя Добрынин, говоришь, на стеклозаводе работает? Кем?

– Не связывайся с ним, Ростислав, тут же на тебя заявит...

– Жалеешь меня? – усмехнулся он.

– Не чужой ты мне.

– Ночью уйду я, – опустив голову, сказал Карнаков.

– Вроде ты умный, сильный, Ростислав, за что и был мне люб, а вот жизнь свою так и не смог по человечески устроить, – раздумчиво заговорила Александра. – Неужто то, что ты делаешь, стоит того, чтобы такую вот волчью жизнь вести?

– Кому что на роду написано, Шура: Тимашу – водку пить да песни горланить, Сове, царствие ей небесное, колдовать, Андрею Абросимову – громкую смерть принять от иноземцев, а мне – скитаться по России-матушке и верить в свою правду.

– А есть она, правда-то?

– Если ни во что не верить, тогда сразу петлю на шею...

– Боюсь, этим ты и кончишь, родной мой, – печально произнесла Александра.

– А чего бы тебе не стать колдуньей? – сказал он. – Вакансия освободилась... Дурачь народ!

– Я и так колдунья, – глядя ему в глаза, серьезно произнесла Александра. – Хочешь, предскажу твою судьбу?

– Не надо, – улыбнулся он. – Тот, кто знает свою судьбу, – самый несчастный человек.

– Бог тебе судья, – вздохнула она. – А все-таки лучше, ежели бы ты покаялся...

– Не говори так! – повысил он голос. – Ты не знаешь всех моих дел, и знать тебе про них не нужно.

– Зачем же пришел?

– И волку одному бывает тяжело... Нет-нет да и задерет башку и завоюет на луну.

– Ну живи, как волк, – сказала она.

– Не прогонишь, если еще как-нибудь выберусь к тебе?

– Мне ты не враг, – тихо ответила она.

Он подошел к ней, обнял и стал целовать. Полная рука ее гладила его тронутые сединой, но еще густые волосы, щеки женщины порозовели.

– Неугомонный... – произнесла она. – Ой, твоя борода колется! Без нее ты выглядел бы моложе.

– Ты одна у меня осталась, – бормотал он. – Не отталкивай, Саша. Ты ведь знаешь, чем я рискую, приезжая к тебе.

– А мне одной, думаешь, сладко? – вздохнула она, высвобождаясь из его объятий. – Ох и длинны осенние бабьи ночи!

– Кто знает, может, все еще наладится и мы опять будем вместе?

– Ты еще во что-то веришь? – усмехнулась она. – А я давно уже во всем изверилась. Ночами-то все думаю про жизнь свою... Ну чем я богу не угодила, что он мне такую горькую

судьбину определил? Живут ведь бабы счастливо, имеют детей, а мне некому будет кружку воды подать...

– Не плачься, Саша. Ты еще хоть куда! – игриво шлепнул он ее по крутому бедру.

– Невезучая я, Ростислав. Видно, и другим счастья не приношу...

– Я был счастлив с тобой.

– Сына и того не сумела уберечь...

Карнаков опять с трудом удержался, чтобы не сообщить ей, что Игорь жив-здоров, работает на большом заводе в Москве... Не нужно ей знать об этом. Игорь оборвал все нити с прошлым, у него другая фамилия, и кто знает, может быть, его судьба будет счастливее, чем у отца и матери. После войны у Карнакова надолго прервалась связь со своими хозяевами, он даже думал, что о нем забыли, но вот совсем недавно явился к нему человек оттуда, доставил деньги, аппаратуру. Ростислав Евгеньевич в глубине души и не сомневался, что его рано или поздно найдут. Прибывший с Запада откровенно заявил, что, хотя хозяева и переменились, задачи тайных агентов прежние: вербовка людей, сбор разведывательной информации, пропаганда образа жизни «свободного мира». Как и предполагал Карнаков, сразу после войны между союзниками антигитлеровского блока начались трения, а затем открытая вражда. Как раз в разгар «холодной войны» и прибыл к нему человек с Запада. Он без обиняков сообщил, что теперь их хозяева – американцы. Карнаков и

сам читал в газетах, что американская разведка прибрала к своим рукам особенно ценных немецких агентов, располагает и списками европейской агентурной сети.

То ли годы стали давать знать о себе, то ли непоколебимость советского строя и мужество соотечественников в этой беспощадной войне, но что-то надломилось в Карнакове: больше он не ощущал былой ненависти к коммунистам, да, признаться, и потерял веру, что их власть можно свергнуть. Хотя ему приходилось больше иметь дело с уголовниками и изменниками родины, насмотрелся в войну и на то, как храбро сражаются русские, как идут на смерть, не выдав своих.

Но и другого пути не видел для себя Ростислав Евгеньевич, потому и согласился работать на американскую разведку – как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает. Человек оттуда заявил, что новые хозяева денег не жалеют. Но пока он не поверит сам, что подпольная работа в России может что-то изменить в мире, он не станет привлекать к разведке Игоря Найденова. Не хотел бы он пожелать сыну своей судьбы.

Глухой ночью с тощим вещмешком за плечами он вышел из дома Александры Волоковой и в обход поселка зашагал в сторону шоссе, которое проходило в трех километрах. На вокзале сесть на поезд он не решился: рисковать было нельзя. На поезд можно сесть на любой другой станции. А путь ему не близкий – рабочий поселок Новины, где он обосно-

вался у солдатки Никитиной, находился в Вологодской области, рядом с Череповцом. Не зашел Ростислав Евгеньевич и к Якову Супроновичу, слышал от Александры, что родной сын Ленька ограбил его. Старик с тех пор сильно сдал, как говорится, на ладан дышит.

Остановившись на пригорке, откуда перед ним расстилась ночная Андреевка, Карнаков закурил и долго смотрел на смутно маячившие крыши домов – ни в одном не светится окошко. Каменной глыбой нависла над поселком водонапорная башня, лишь на станции помигивают стрелки да сыплет из трубы красные искры маневровый. Вернется ли он сюда еще раз? Про это никто не знает... Хотя они с Александрой и толковали, что скоро снова увидятся, ни он, ни она в это не верили. Может, сам он стал другим, как ни говори, скоро шестьдесят, а может, Саша остыла, только не было между ними того, что было раньше. Спасибо, что хоть приняла, не прогнала... Как бы там ни было, но он ей не сообщил ни своего нового места жительства, ни своей другой фамилии. Если раньше где-то в глубине души и тлела надежда, что у него есть на свете верный человек, готовый всегда принять его, то теперь он так не думал. Возможно, сообщи он ей об Игоре, и нити, связывающие их, стали бы крепче, но этого он не сделал.

Огромная багровая луна тяжело поднималась над бором. Верхушки сосен и елей мертвенно серебрились. Кровавый глаз семафора мигал на путях. Один раз дорогу перебежал

зверек, Карнаков так и не понял, кто это – заяц или лисица. Далекий протяжный паровозный гудок прокатился над лесом, красный свет пропал, вспыхнул зеленый.

Карнаков поправил вещмешок за плечами, затоптал сапогом окурок и, больше не оглядываясь, зашагал по разбитой дороге. Это был не прежний высокий стройный человек с военной выправкой. Широкие плечи его ссутулились, походка отяжелела, голова клонилась на грудь – теперь он все чаще смотрел себе под ноги.

Вряд ли кто-либо сейчас узнал бы в нем бывшего заведующего Андреевским молокозаводом Григория Борисовича Шмелева.

# Глава четвертая

## 1

Город Великополь посередине пересекала довольно широкая речка Малиновка. Расположенная на высоком берегу часть города называлась Верхи, а на низком – Низы. Когда-то Великополь славился своими богатыми садами. Сюда за яблоками и грушами приезжали на ярмарку из других городов, но война подчистую смела не только большую часть построек, а и сады. Если в Низах еще кое-где сохранились кирпичные здания, то Верхи были разрушены полностью. Город дважды переходил из рук в руки, его обстреливали, бомбили, проутюжили танками и самоходками.

На травянистом холме издали виднелась полуразрушенная церковь. Верхняя часть купола провалилась, штукатурка осыпалась, обнаженная местами кирпичная кладка напоминала незажившие кровавые раны. На сохранившейся части купола выросли тоненькие деревца. Издали покалеченная церковь напоминала лысую человеческую голову с редкими кустиками волос. Ветер с реки шевелил «волосы», а когда над городом проносился ветер, с купола летела красноватая пыль, она оседала на дороге огибающей церковь, припорошивала молодые тополя.

Вадима Казакова притягивала к себе эта разрушенная снарядом церковь. Здесь было пустынно и тихо, через дорогу, огороженное кирпичной стеной, раскинулось до самой железнодорожной насыпи старое кладбище. После войны тут не хоронили. Новое кладбище находилось теперь в Низах, ближе к аэропорту. А тут сохранились старинные мраморные надгробия, даже два или три склепа с черными каменными гробами. В склепах было сыро, с кирпичных стен стекло, на полу образовались гнилые лужи.

Вадим, Володя Зорин и Герка Голубков сидели на кирпичных развалинах и сосали карамель. У них стало привычкой днем, после репетиции, наведываться сюда и, сидя на развалинах, смотреть на несущую в голубую даль свои воды Малиновку, слушать посвистывание ветра в искореженных перекрытиях церкви. В ясную погоду из камней выползали юркие зеленые ящерицы и грелись на солнце, бабочки-крапивницы садились на руки, из-за кладбищенской стены, за которой высились пережившие войну гигантские черные деревья, слышался птичий гомон.

– Главный режиссер Канев говорит, что у тебя талант! – утверждал Володя Зорин, круглолицый, с вьющимися волосами юноша, небольшие голубые глаза его поминутно моргали. – Сколько ребят мечтают стать артистами! А ты сыграл уже двенадцать приличных ролей, про тебя в городской газете писали... Ты огромную глупость сделаешь, если уйдешь из театра!

– Не уйдет, – перекатывая во рту карамель, лениво процедил длинноволосый Герка. – Вадя шутит.

– Я утром Каневу заявление положил на стол, – заявил Вадим.

– Поклонишься ему в ножки и заберешь, – тем же тоном произнес Герка. Он смотрел на речку, где в кустах расположился рыбак в белой панаме. Тот как раз снимал с крючка плотвичку. Видно было, как бросил ее в жестяное ведро, стоявшее в траве.

– Ты уверен, что театр – это для тебя все? – в упор посмотрел Вадим на Володю.

– Я, наверное, умер бы без театра, – ответил тот.

– А ты? – перевел взгляд Вадим на Герку. – Тоже жить не можешь без театра?

– Мне нравится профессия артиста, – беспечно сказал Голубков и засунул в рот карамелину. – Ты стоишь на ярко освещенной сцене, а на тебя смотрят сотни людей...

– А мне почему-то стыдно, когда меня называют артистом, – возразил Вадим. – И потом, я хожу по сцене и что-то говорю, а сам думаю: поскорее бы закончился чертов спектакль. Помнишь, Герка, ты играл в пьесе «Лев Гурыч Синичкин»? У тебя вся рожа была разрисована, как у индейца? Как гляну на тебя, так меня такой смех разбирает, хоть караул кричи.

– Канев похвалил меня за эту роль, – вставил Герка.

– Как бы вам это объяснить? Хожу по сцене, слова про-

изношу, а сам будто бы вижу себя со стороны, и жалко мне себя, понимаете? Ерундой какой-то я занимаюсь! Ну стыдно мне, что ли? Какой-то чужой я. Зачем я, думаю, торчу на сцене? Что мне тут надо?

– Ерунда-а, – процедил Герка. – Фантазии.

– А мне на сцене легко и радостно, – сказал Зорин. – Перед каждым выходом я волнуюсь, и это вовсе не неприятное ощущение. Когда я играю, то забываю про время. И мне бывает жаль, что закрывается занавес.

– Ты – настоящий артист, – заметил Вадим.

– Я просто выхожу на сцену и стараюсь сыграть свою роль как можно лучше, – вставил Голубков. – Если режиссер мной доволен, и я счастлив.

– А ты – ремесленник, – жестко заявил Вадим.

– В отличие от тебя я не забиваю голову разной чепухой, – огрызнулся Герка. – У меня есть текст, и я от него, в отличие от тебя, не отступаю.

– Вадим, почему ты иногда порешишь отсебятину? – помаргивая, уставился на приятеля Володя. – Это больше всего Канева злит.

– Мне не нравится текст, который он заставляет учить наизусть...

– Наверное, способности у тебя есть, Вадим, – задумчиво проговорил Зорин. – Но нет призвания. То, что ты говоришь, мне просто дико слышать. На сцене я думаю, как лучше в образ войти, а не как отредактировать текст.

– Слушай ты его, он дурака валяет! – засмеялся Герка. – Неужели не видишь? Играет перед нами этакого простачка из дешевой пьесы.

– Вот именно, нам чаще всего приходится играть в дешевых, бездарных пьесах, – подхватил Вадим. – Герке лишь бы себя показать. Ты даже не замечаешь, что несешь чужие расхожие реплики с претензией на юмор.

– Мы – артисты, а пьесы пишут драматурги, – возразил Володя Зорин.

– Вам нравится – вы и играйте на сцене, а я умываю руки!

– Если ты такой умный, то пиши хорошие пьесы, а мы с Володей будем с удовольствием в них играть... главные роли, – засмеялся Голубков.

– Да разве мало на свете профессий? – весело воскликнул Вадим. – Знаете, кем я решил стать? Часовым мастером! Сиди себе в мастерской на высоком стуле с моноклем в глазу и малюсенькой отверткой ковыряйся в часах. Что самое ценное на свете? Время! Вот я и буду чинить людям часы... У хороших пусть часы отстают, и жизнь их продлится, а у плохих – нехай спешат, торопятся, и жизнь их станет короче.

– «Мама, я летчиком хочу... – пропел Герка. – Летчик водит самолеты...»

– Если я уйду из театра, давайте все равно хоть раз в неделю встречаться здесь, – предложил Вадим. – Я буду на всех покупать конфеты.

– Ты же станешь безработным, – хмыкнул Герка.

– Пора бы знать, герой-любовник, – бросил на него насмешливый взгляд Вадим. – В нашей стране безработных нет. Как это в песне-то поется? «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет...»

– Какую же ты дорогу выберешь? – серьезно посмотрел на него Зорин.

Вадим отломил от кирпичной кладки кусочек штукатурки, прицелился и бросил его вниз, в пивную бутылку, блестящую в крапиве, но не попал. Его серые с зеленым ободком глаза пристально смотрели на речку.

– А может быть, дорога сама меня поманит? – сказал он. – Есть люди, которые с малолетства выбирают себе профессию... В войну я захотел быть летчиком. И вот ничего не вышло. Подался в артисты – и снова мимо! Я уже и боюсь сам выбирать дорогу. А вдруг опять не туда заведет?

– Ты же стихи сочиняешь, – вспомнил Герка. – Стань поэтом или писателем. А еще лучше – драматургом: эти больше всех денег зашибают!

– И верно, в стенгазету ты за два часа сочинил длинную поэму, – вспомнил Зорин. – Кстати, всем понравилась.

– Главреж Канев смеялся, я сам видел, – заметил Герка.

– Какие это стихи, – вздохнул Вадим. – Так, баловство. – И негромко прочел вслух:

Тот поэт, врагов кто губит,  
Чья родная правда мать,

Кто людей, как братьев, любит  
И готов за них страдать.  
Он все сделает свободно,  
Что другие не могли.  
Он поэт, поэт народный,  
Он поэт родной земли!

– Неплохо, – похвалил Володя Зорин. – Программные стихи.

– Напечатай в стенгазете, – лениво заметил Голубков. – А может, и в городскую возьмут?

– Ранние стихи Есенина, – улыбнулся Вадим. – Посвятил другу Грише в тысяча девятьсот двенадцатом году. А кто этот Гриша, я не знаю.

– Я в библиотеке спрашивал Есенина, говорят – нет, – сказал Володя. – Мне его стихи нравятся. Хочу для концертной программы что-нибудь подготовить.

– Я тебе дам свою старую книжку, – пообещал Вадим. – Нашел в Андреевке на чердаке.

– А клад там с золотыми не обнаружил? – полюбопытствовал Голубков. – Потому и из театра надумал уйти, что стал миллионером?

У Герки была привычка ехидничать по любому поводу. Высокий, худощавый, с длинным носом и близко посаженными глазами, светлой челкой, которую он зачесывал набок, Герка считал себя писанным красавцем и мечтал сыграть роль героя-любовника.

Надо сказать, что у него начисто отсутствовало чувство юмора: там, где другой бы смолчал или все свел к безобидной шутке, Голубков взрывался, багровел, сжимал кулаки, а потом долго дулся на обидчика.

И вместе с тем на людях Герка держался солидно, с достоинством, как говорится, умел людям пускать пыль в глаза. Наверное, потому он и нравился женщинам в годах, что и сам выглядел старше своего возраста.

Полной противоположностью ему был Вадим Казаков, он ничуть не заботился о том, какое он производит впечатление. Он и на артиста мало походил, одевался просто, никогда не повязывал галстуков, стригся под полубокс. Рядом с элегантным, всегда хорошо одетым Голубковым Вадим выглядел мальчишкой-подмастерьем.

Владимир Зорин тоже недалеко ушел от Казакова: носил клетчатые ковбойки с распахнутым воротом, куртки, однако в лице его было нечто артистическое, кстати, у него отец – сценарист, а мать – актриса. В городском великопольском театре Зорин считался самым перспективным молодым артистом, которому прочили большое будущее. Он уже сыграл несколько крупных ролей, удостоился пространной похвалы критика. На сцене держался естественно, особенно ему удавались роли ершистых, трудных пареньков, конфликтующих с коллективом. Когда он, горячо жестикулируя, произносил свой коронный монолог, в зале становилось тихо, никто даже не замечал его надоедливое помаргивания. Нередко зрите-

ли награждали Зорина аплодисментами.

Вадиму Зорин нравился больше Голубкова, но как-то так уж получилось, что они сдружились втроем. На гастролях всегда жили в одной комнате. Володя был влюблен в жену молодого режиссера Юрия Долбина и больше ни на кого не смотрел. Вадим тоже не любил и не умел знакомиться на улице. Зато Голубков, не скупясь на подробности, расписывал им каждый вечер в номере свои похождения. Зорин хмурился, отворачивался и в конце концов клал на голову подушку и засыпал. Вадим же слушал приятеля с удовольствием, хотя не верил ему ни на грош. Пожалуй, эти вдохновенные рассказы Гарольда и были лучшими его артистическими выступлениями.

Рыболов на берегу Малиновки смотал свою удочку, а парнишки на лодке все еще дулись в карты, очевидно на деньги – очень уж у них были напряженные позы. На гладком темном валуне замерла ворона. Нахохлилась, не шелохнется, прямо-таки птичий философ. Может, она и впрямь задумалась о смысле жизни?

Взглянув на часы, Зорин легко спрыгнул со стены, отряхнул помятые бумажные брюки. Густая каштановая прядь спустилась на загорелый лоб. Рукава клетчатой рубашки закатаны до локтей.

– Знаете, чего я больше всего сейчас хочу? – блеснув ровными зубами, улыбнулся он.

– Тамару Лушину поцеловать, – ухмыльнулся Герка.

– Пошляк ты, Гарольд. – Улыбка погасла на тонких губах Зорина.

– Чего же ты хочешь? – желая разрядить обстановку, спросил Вадим.

– Я хотел бы, чтобы вот эта разрушенная церковь, вид на Малиновку, кладбищенская стена и ворона на камне всегда были, – произнес Зорин. Чувствовалось, что реплика Гарольда сбила его пафос, наверное, поэтому слова его прозвучали несколько театрально.

– Стена, ворона... Это красиво, – задумчиво сказал Вадим. – Но развалины-то зачем? Я хотел бы снова увидеть эту церковь целой и невредимой, со звонницей, позолоченными куполами...

– Может, ты в бога веришь? – с усмешкой взглянул на него Голубков.

– Я верю в красоту, – сказал Вадим.

– Если бы ты чувствовал красоту, то не отзывался бы так о театре, – возразил Зорин. – Что может быть прекраснее художественного мира на сцене? Красивые декорации, старинные наряды, мебель, бронзовые светильники, возвышенные слова...

– И все это – бутафория, – возразил Вадим. – Декорации нарисованы, бронза ненастоящая, а действующие лица – марионетки!

– Теперь и я поверил, что ты не артист, – нахмурился Володя. – Когда я на сцене, то верю, что все так и было, я ви-

жу не тебя, Вадима Казакова, а того персонажа, которого ты играешь.

– А я никого не вижу, лишь слушаю реплики, чтобы не пропустить свой выход, – вставил Герка.

– Нас трое и все по-разному чувствуем и видим, – улыбнулся Вадим. – Моя красота – это природа! Мне все времена года нравятся, ни один день не похож на другой. Наверное, мне надо было идти в лесники. Мне никогда не было в лесу скучно.

– Давайте через двадцать лет встретимся на этом самом месте, – предложил Володя. – Интересно, какими мы тогда будем.

– У меня память плохая, – сказал Герка. – Я забуду.

– Стена останется, церковь снесут и на ее месте построят промкомбинат, – стал фантазировать Вадим. – Валун в речке останется, наверное, и ворона никуда не денется, а мы? Мы станем совсем другими... Герка женится на тете Маше, растолстеет, будет нянчить пятерых детей, а может, и внуков... Тетя Маша, выйдя на пенсию, посвятит себя только ему и потомству...

Голубков протестующе поднял руку, раскрыл было рот, но Вадим продолжил:

– Театр ты не бросишь – театр тебя бросит. Ну иногда будут приглашать на роли пожилых злодеев... А ты, Володя, станешь заслуженным артистом, лауреатом Сталинской премии, вот только не знаю, какой степени... женишься на Та-

маре Лушиной, разведешься, снова женишься на кинозвезде и будешь счастлив.

– А ты... – обозлившийся Голубков наморщил лоб, чтобы придумать что-нибудь похлеще. – Ты будешь в ларьке пивом торговать!

На большее его не хватило, и он замолчал.

– А вот что будет со мной и кем буду я – никто, братцы, не знает, наверное, даже господь бог! – серьезно заявил Вадим. – В башке такой ералаш, что самому страшно! Уж которую неделю ломаю голову, что делать дальше, но не вижу никакого просвета. Мать недовольна, что я в театре, отец помалкивает, но чувствую, и он не одобряет. Куда же мне податься-то, братцы кролики?

Вадим улыбался, но на душе было тяжело: зря, пожалуй, завел он этот разговор. Герка мучительно ищет, чем бы его, Вадима, побольнее уязвить, Володя Зорин – этот, кажется, понимает...

– Стань фотографом! – вдруг осенило Голубкова. – Будешь людей снимать: «Шпокойно, шнимаю!» Денежки потекут в карман, самых красивых девушек будешь вывешивать в окне своей фотографии.

– Девушек или фотографии? – взглянул на него Вадим.

– Купи «фотокор» или «лейку» и открывай свое дело... – развеселился Герка.

– Я подумаю, – пообещал Вадим. – Первым моим клиентом будешь ты, Гера! У тебя физиономия очень фотогенич-

ная, правда, нос великоват...

– Женщинам мой нос нравится, – ухмыльнулся Голубков.

– Хотел бы я, Вадим, посмотреть на тебя через двадцать лет, – задумчиво проговорил Зорин.

– Я тоже, – усмехнулся Вадим.

– Ребята, вы не забыли, спектакль «Мера за меру» перенесли, сегодня будут «Кремлевские куранты», – напомнил Володя. – Мы все там заняты.

– Кроме меня, – сказал Вадим. – Я больше нигде не занят.

## 2

Вадим Казаков прочел очень много книг, – пожалуй, самым любимым занятием его в жизни и было чтение книг. С детства не расставался с ними. В партизанском отряде приходилось редко держать книгу в руках. Зато в совершенстве овладел автоматом, парабеллумом, научился ставить самодельные мины на железнодорожные пути, часами в пургу и дождь выжидать в засаде, даже сам себе сшил обувь, когда башмаки совсем развалились. В книгах он находил иной, прекрасный и романтический мир, совсем не похожий на суровую действительность. Ричард Львиное Сердце из «Айвенго» Вальтера Скотта несколько лет был его любимым героем. Этот потрепанный том он повсюду возил с собой. Читая книги, Вадим забывал обо всем: времени, месте, даже еде. Читать любил в одиночестве, для этого приходилось ис-

кать самые потаенные уголки, чтобы никто его не нашел и не развеял тот призрачный мир, в котором он часами витал.

У большинства книг был хороший конец – это нравилось Вадиму. После всех горестей, обид, тяжелых испытаний герои книг наконец-то обретали счастье и покой. И он, веря книгам, редко задумывался о будущем, полагал, что такова жизнь, что сама все равно рано или поздно устроит, поставит на свои места. Книги вселяли в него оптимизм, веру в жизнь, в хороший конец.

Сразу после войны он вернулся в Великополь – город был почти полностью разрушен. Первое время жил с отцом в пассажирском вагоне на запасном пути. Вместе со своими сверстниками стал работать на стройке. Овладел специальностями каменщика, маляра, электрика. Сколько сейчас в городе стоит зданий, к строительству которых он приложил свои руки! Почти за год восстановили железнодорожный техникум, потом большой четырехэтажный жилой дом на площади Ленина. Лишь в 1946 году перебрались с отцом из железнодорожного вагона в стандартный дом. Работал и учился в школе рабочей молодежи. Нужно было нагонять упущенное. Днем проводил свет в домах, а вечером с книжками под мышкой мчался в школу. И еще успевал читать художественную литературу! Нет, Вадим не жаловался на жизнь, пожалуй, считал, что так и должно быть. Рядом с ним были сверстники, которые жили точно так же. Вот на что не хватало времени, так это на танцы, девушек. Может, по-

этому он так трудно и сходил с ними. Те девушки, которые работали на лесах рядом и сидели в школе рабочей молодежи на одной парте, совсем не походили на тех, про которых он читал в романах... И вместе с тем верил, что его «принцесса» где-то еще спит в заколдованном царстве и ждет, когда он, Вадим, придет и разбудит ее...

Потом Харьковское авиационное училище, театр, заочная учеба. И снова он мучительно ищет себя: поработал в радиомастерской – надоело, день-деньской мотай на станке трансформаторы к приемникам, паяй разноцветные проводки и сопротивления... Сунулся было в архитектурное управление, поработал геодезистом, потом заставили чертить на кальке схемы приусадебных участков... Не пошло и это дело. А после того как в сыром подвале, где он с приятелем проводил электричество, сильно стукнуло током, так что чуть не потерял сознание, перестал и этим заниматься.

Мать и отец только диву давались – что с ним происходит? Столько профессий на свете, выбирай любую и работай себе, как все люди, так нет, чего-то мечется, ищет, а чего ищет, и сам не знает. Пожалуй, в этом они были правы...

И вот теперь едет в Ленинград. Лежит на верхней полке и смотрит в окно, за которым мелькают телеграфные столбы, желтеет осенний лес, убранные поля с копнами соломы, пляшут перед глазами блестящие провода, они то взбегают на холмы, то скатываются в низины, перепрыгивают через речки. Такое ощущение, что эти серебрястые нити живут своей

беспокойной жизнью, и кажется, не поезд движется, а они летят на фоне леса, полей, желтых далей и сумрачного низкого неба. Стук колес будто подыгрывает проводам, под эту металлическую музыку они и пляшут свой бесконечный стремительный танец.

Вспомнился последний разговор с отчимом. Длинный Казakov обнаружил его на сеновале с романом Достоевского «Идиот».

– Ты не на работе? – удивился Федор Федорович. Его голова в железнодорожной фуражке неожиданно возникла на фоне облачного неба, видневшегося в приоткрытую дверку.

– Дрянь все женщины, – еще весь во власти прочитанного, сказал Вадим, откладывая в сторону книгу. – Мучает Рогожина, князя... Ведьма эта Настасья Филипповна!

– Ведьма? – озадаченно переспросил отчим.

– Ей Рогожин сто тысяч привез, а она насмешничает над ним! – продолжал Вадим. – Князь Мышкин предлагает руку и сердце – она смеется ему в лицо... Ну кто она? Конечно, стерва!

– Слезай, потолкуем, – предложил Федор Федорович.

Вадим нехотя спустился по приставной лестнице с сеновала. Они жили в деревянном стандартном четырехквартирном доме – их десятка два построили сразу после войны на Длинной улице, как ее по старинке называли. На номерных знаках было написано: «Улица Лейтенантов». Почему так после войны ее называли, никто не знал. На этой самой про-

тяжелой улице Великополя Вадим ни одного военного не видел. Сразу за домами виднелись огороды, упиравшиеся в узкое болото, за которым желтела железнодорожная насыпь. Кое-кто из окраинных горожан держал корову, коз, а уж сви- ньи хрюкали в каждом сарае. Лишь в центре возвышались двух-, трех– и четырехэтажные здания. В сарае Казаковых тоже ворочался молодой боровок, на перекопанном огороде бродили курицы с мечеными фиолетовыми чернилами хво- стами.

Отец и сын присели на ступеньки деревянного крыльца. Слышно было, как на кухне мать гремит кастрюлями и за что-то отчитывает младшего, семилетнего Валерку. Всего у Казаковых сейчас четверо детей: Галя учится в восьмом классе, Гена – в четвертом, Валера осенью пойдет в первый. Конечно, родителям нужно помогать, потому Вадим и стал было в свободное время подхалтуривать у частных на про- водке электричества. Об уходе из архитектурного управле- ния он дома не сообщил, а деньги в конце каждого месяца кровь из носу вручал матери.

– Выходит, и из последней конторы ушел? – закурив па- пиросу и не глядя на сына, спросил Федор Федорович. – Ты, брат, я гляжу, летун! Ну ладно, те хоть за длинным рублем гоняются, а ты-то? Капиталу не нажил?

– Надоело рейсфедером линии чертить на кальке, геоде- зистом и то было лучше.

– Ну и что же?

– Начальник направил в чертежную мастерскую, – уныло проговорил Вадим. – Ну какой из меня чертежник? Я там меньше всех зарабатывал.

– Надоело, значит, – пуская дым, проговорил отец.

Он все так же смотрел прямо перед собой. Худощавое лицо чисто выбрито, светлые волосы выбиваются из-под фуражки, на длинном вислом носу свежая царапина. Хотя Казаков теперь начальник дистанции пути, физической работы не чурается. Вместе с путейцами ворочает шпалы и рельсы. На погонах у него большая звездочка. Мать часто упрекает его: мол, стал начальником, а хорошую квартиру не выхлопочешь, тесно шестерым-то в единственной комнате. Это правда, кругом стоят кровати и диваны, больше нет почти никакой мебели. Вадим над своей кроватью прибил сделанную им книжную полку. И все равно все книги там не поместились, часть пылится под кроватью.

– Сначала вроде все интересно, а придет время – и смотреть противно на эти провода, конденсаторы, сопротивления... Начал паять по своей схеме – мастер выговор объявил и погрозил прогнать из мастерской. Ну я взял и сам ушел... – Вадим посмотрел на задумавшегося отца. – Ну почему мне никак не найти себе дело? Тыкаюсь, как слепой щенок по углам...

– Война виновата, – после длительной паузы уронил отец. – Вместо учебы-то чем занимался? Стрелял, в разведку ходил, мосты взрывал... Короче, научился разрушать, а

вот строить-то, оказывается, труднее! Крутанул машинку – и огромный дом рассыпался на кусочки. А попробуй заново построй его! Сколько времени и труда надо! Какого труда мне было заставить пойти тебя в школу!

– Я заочно в институте учусь, – ввернул Вадим.

– Что это за учеба! – отмахнулся отец. – Полгода не помнишь об институте, а в сессию нахватываешь с бору по сосенке и бежишь экзамены сдавать.

– Сейчас многие работают и учатся.

– А ты, браток, и не работаешь, и не учишься, – жестко подытожил отец. – Не забывай, на моей шее сидит вас пятеро... – Он несколько смешался, даже поперхнулся дымом. – Ну мать, конечно, не считается, на ней весь дом держится, хозяйство. А ты – старший, от тебя помощи ждут.

– Я твой хлеб, батя, даром есть не буду, – глухо ответил Вадим.

– Не пойму я тебя, – вздохнул Федор Федорович. – Вроде не дурак, а к жизни легко относишься. Надо найти свое дело и делать, долбить в одну точку! Только тогда чего-нибудь в жизни добьешься. А прыгать, как блоха, с места на место – это последнее дело.

– Точку-то эту мне как раз и не найти, – через силу улыбнулся Вадим. – А долбить впустую неинтересно.

– А как же другие? Твои дружки учатся, работают. Тебе скоро жениться пора, а у тебя до сих пор никакой специальности нет. Так, перекаати-поле...

Они долго молчали. Федор Федорович не заметил, как папираса погасла. Светло-голубые глаза его смотрели на дорогу, по которой изредка проезжали грузовики, новенькие «победы». Худые бритые щеки запали, на тощей шее выделялся кадык. Воротник кителя был широк Казакову, погоны, которые тогда железнодорожники носили на манер военных, сторбатились на плечах. И карточки отменили, и хлеба стало вволю, и появилось в магазинах мясо, сало, консервы, а жить на отцовскую зарплату все равно было трудно. Мать экономила на всем. Немалую помощь оказывал огород. Семь мешков картошки накопили за болотом, где был у них участок. Близ дома, за низкой загородкой, сажали огурцы, капусту, морковь и разную зелень, что идет в приправу к столу.

Обидно было Вадиму, но в душе он понимал, что отец прав. Всякий раз, когда Вадим бросал работу, мать начинала на него косо посматривать, а иной раз и в лицо бросала, что он нахлебник, больше двадцати стукнуло, а деньги толком все еще не научился зарабатывать...

– Не хочешь попробовать у меня путейцем? – предложил отец, выплюнув окурок. – Твой дед был железнодорожником... Почетная профессия, нужная.

– Не хочу тебя подводить, – отказался Вадим. Одно дело уйти с работы, другое – уйти от отца.

– А может, ты хочешь стать... сыщиком? – вдруг осевшим голосом сказал отец.

– Кем? – изумился Вадим, еще не понимая, шутит тот или

говорит всерьез.

– Твой родной отец, Кузнецов, начинал службу на границе, – пояснил Федор Федорович. – В общем, с овчаркой выслеживал нарушителей. Шпионов ловил.

Вадим в удивлении смотрел на четкий профиль отчима. Впервые за все время тот заговорил о его родном отце. Почему-то эта тема была запретной в их доме. Даже мать ничего не рассказывала об отце, когда еще малолеткой Вадим приставал к ней.

– Собак я люблю, – помолчав, ответил Вадим. – Но сыщиком быть не собираюсь...

– Я ничего плохого не хотел про него сказать... Кузнецов был уважаемым человеком. И в войну, говорят, отличился. Ты ведь был с ним в одном партизанском отряде?

– Он недолго был с нами, потом ушел на Большую землю, – ответил Вадим. – И нас с Пашкой хотели отправить, но мы остались. А потом эта Василиса Прекрасная...

– Жена? – негромко спросил Федор Федорович.

– Я ее мамой не звал, – усмехнулся Вадим. – А вообще-то хорошая женщина. Она тоже осталась в отряде. А где сейчас – не знаю.

– Помнишь, как Кузнецов тебя маленького в Ленинград увез?

– Я все помню, – сказал Вадим. – Мне шесть лет тогда было. Я ведь от него убежал.

– Тебя он любил, – сказал отец. – И зря ты на него рассер-

дился: хотел уберечь тебя от войны. А вот сам не уберегся...

– Василиса Красавина все знает о нем, – вздохнул Вадим. – В отряде она только об... – он не сказал «отце», – ... Кузнецове и говорила, какой он храбрый и хороший...

– Обратись в МГБ, – посоветовал Казаков. – Уж там-то знают, что с ним случилось.

– Ты мой отец, – опустив голову, сказал Вадим. – Как говорила бабушка Ефимья, не тот отец, кто родил тебя, а тот, кто воспитал!

– Я не уверен, что очень уж хорошо тебя воспитал... – заметил Федор Федорович. Чувствовалось, что ему тяжело дается этот разговор. Он не смотрел на Вадима, желваки ходили на его впалых щеках.

– Чего ты о нем вспомнил? – спросил Вадим. Он и впрямь не мог взять в толк: чего это Казаков об отце заговорил?

– Мне пора, – тяжело поднялся Федор Федорович с крыльца. – Иди обедать, мать звала.

Длинный, действительно чем-то напоминавший костыль, как его называли в Андреевке, Казаков, не заходя домой, широко зашагал по тропинке к калитке. Вадим вспомнил, как они вдвоем ходили в Андреевке в баню: отец мерно шагает впереди, широко расставляя свои длинные ноги циркули, а он, Вадим, вприпрыжку семенит рядом, чтобы не отстать. Говорят, что в Великополе всего трое таких высоких, как Федор Федорович. И все – железнодорожники.

Не вспомни Казаков о «сыщике», как он назвал Кузнецо-

ва, возможно, ничего бы и не случилось: Вадим снова поступил бы куда-нибудь на работу, может, даже в фотографию, чтобы не быть обузой родителям, но тут пришло из Андреевки письмо: Ефимья Андреевна сообщала, что живет нормально, не болеет, зарезала драчливого петуха, запасла брусники, черники, малины, так что для дорогих гостей варенья достаточно... Письмо написала квартирантка Анфиса. В конверт был вложен еще один листок в клетку – это было письмо от Василисы Красавиной. Она сообщала, что живет на Лиговке в Ленинграде, в той самой квартире, где до войны проживал Иван Васильевич с сестрой. Далее она писала, что после войны закончила педагогический институт и работает учительницей русского языка и литературы в средней школе. Не верит, что Иван Васильевич погиб, ждет и надеется... Просила сообщить ей адрес Вадима и передать ему, что она очень хочет увидеть его и Павла Абросимова. Пусть помнят: двери ее дома всегда для них открыты...

После освобождения Андреевки в 1943 году Василиса Прекрасная уехала в тыл разыскивать своих родителей, больше о ней ничего не было слышно, и вот – это неожиданное письмо! Она запомнилась Вадиму красивой, синеглазой, с пышными русыми волосами, в черном коротком полушубке, заячьей ушанке и валенках с коричневыми задниками. Вспомнились ее теплые руки, когда она перевязывала заде- тое осколком плечо, тихий голос, взгляд, устремленный в небо... Василиса ждала, что Кузнецов снова прилетит в от-

ряд, но он так больше и не прилетел...

После разговора с отцом у Вадима и созрело решение поехать к Василисе. Тут еще мать, как говорится, подлила масла в огонь, сгоряча обозвала бездельником, дармоедом и ни на что в этой жизни не пригодным... Вадим и сам понимал, что он тут лишний. Все его имущество уместилось в одном чемодане. У Вадима даже не было приличного костюма, единственная стоящая вещь – это коричневое кожаное пальто, которое по случаю купил на толкучке в Резекне, когда был там с театром на гастролях. На этом пальто, пахнущем рыбьим жиром, он и лежал сейчас на верхней полке трясущегося вагона.

Еще и еще раз спрашивал себя Вадим: зачем он едет к Василисе Красавиной? Столько лет прошло. Он не испытывал к этой женщине из далекого военного прошлого никаких чувств. Детские воспоминания в его возрасте быстро стираются, это потом, к старости, они снова всплывут в памяти... Думай не думай, а остановиться в Ленинграде ему больше было не у кого. Да и что он будет там делать, тоже было пока неясно. Вадим гнал прочь мрачные мысли, – в конце концов, его пригласила жена пропавшего без вести отца. Все-таки не чужая...

Перед самым Ленинградом заморосил дождь, ветер размазывал капли по стеклу. В туманной мгле вдруг факелом вспыхивала желто-красная береза. Когда поезд проходил через железнодорожный мост, можно было увидеть плывущие

по воде разноцветные листья. У переездов мокли полуторки, трехтонки, длинноносые трофейные автобусы. И снова зеленые, желтые, оранжевые дачные дома и домики с палисадниками и мокрыми крышами.

– Подымайся, парень, – проходя мимо с охапкой постельного белья, сказал пожилой проводник. – К Питеру подъезжаем.

\* \* \*

Василиса Степановна Красавина и сейчас была Прекрасной. Может, немного стала полнее, величавее. Она смеялась, слушая про злключения Вадима в театре, отводила со лба непокорную русую прядь, однако в глубине ее синих глаз затаилась печаль. В просторной комнате, у окна, письменный стол со стопками синих тетрадок и большой, из прозрачного стекла чернильницей. Два книжных шкафа с книгами. Шифоньер, сервант с красивой посудой. Вроде мебель другая... Будто прочтя его мысли, Василиса Степановна пояснила:

– В блокаду соседи всю мебель сожгли, я столько отсюда грязи выволокла! Эту квартиру мне дали... В общем, когда я приехала в Ленинград, сразу пошла на Литейный проспект – так мне велел Дмитрий Андреевич Абросимов, Он переслал со мной папку с документами, написал письмо, чекисты хорошо меня встретили, помогли с пропиской, до сих пор иногда звонят, справляются, все ли у меня в порядке... Там

мне сообщили, что Ваня геройски погиб в Берлине... Только я не верю этому. Может, в концлагерь попал, а оттуда еще куда? – Она заглянула Вадиму в глаза. – Сколько случаев, когда человека считали погибшим, даже похоронки приходили, а потом оказывалось, что он жив... Могли ведь американцы или англичане его захватить и держать у себя? Никто не видел его могилы, да и как он погиб, толком не знают... Скажи, ты не чувствуешь, что он жив?

И столько в ее глазах было надежды, что Вадим не решился ответить, что ничего он не чувствует... Да и что он мог чувствовать, если бабушка и мать все сделали, чтобы он вычеркнул из памяти родного отца? Не то чтобы они его настраивали против, просто он, Вадим, не глухой и не слепой: он видел, как мрачнело лицо матери при упоминании о первом муже, слышал, как она резко отзывалась о нем в разговорах со своими подругами, да и бабушка нелестно проезжалась в адрес Кузнецова. Нет-нет и упрекала дочь, что та в свое время не послушалась ее, а теперь вот мается с двумя детишками от первого брака... Лишь дед Андрей Иванович всегда уважительно отзывался о первом зяте.

Побудь бы Иван Васильевич подольше в партизанском отряде, наверное, Вадим снова бы привязался к нему, но случилось так, что он, наоборот, чуждался там Кузнецова, сильно опасаясь, что тот отправит его на Большую землю, подальше от партизан, новых друзей...

– Не веришь ты, что твой отец жив, – разочарованно про-

тянула она.

– У меня ведь есть еще один отец, – честно сказал он. – И он для меня как родной.

– Я каждый день жду, что затрещит звонок, я открою дверь и он скажет: «Ну здравствуй, моя Василиса Прекрасная!» Он так меня звал...

– Я помню, – улыбнулся Вадим, живо представив себе, какие были у нее глаза, когда она увидела его утром на пороге...

Она даже пошатнулась, схватилась руками за косяк, красивое лицо ее побелело, уголки губ опустились, а синие сияющие глаза, казалось, заняли пол-лица. Потом она сказала, что в первое мгновение приняла его за Ивана Васильевича... Вадим и не подозревал, что так похож на отца, все говорили, что он пошел в мать. У Кузнецова волосы русые, а у него черные, как у матери, разве что в глазах есть что-то отцовское. Мать в сердцах часто говорила: «Ну чего вытаращил на меня свои зеленые зенки? У-у, родной папочка! Тот так же смотрел на меня, когда нечего было сказать...»

– Твой отец здесь до сих пор прописан, – рассказывала Василиса Степановна. – Жилконтора мне подселила пожилую пару, они пожили с год и переехали в пригород, где у них близкие родственники. Я очень рада, что ты приехал, Вадик! Вот и пригодилась маленькая комната для тебя. Дай мне паспорт, я завтра же начну хлопотать, чтобы тебя прописали.

– Что я тут делать буду? – с горечью вырвалось у него. Он

действительно не знал, зачем приехал в этот чужой, мокрый, туманный город, где и утром сумрачно, как вечером. На полке горела электрическая лампочка под матовым фарфоровым абажуром.

– В Ленинграде? – удивилась она. – Подойди к любому забору – десятки, сотни объявлений! И потом, разве сам Ленинград тебя не волнует? Театры, музеи, исторические места? Ты разве не слыхал, что Ленинград – один из красивейших городов мира? Здесь брали Зимний, в Смольном жил Ленин...

Наверное, она и сама заметила, что заговорила с ним, как учительница, потому что смутилась, легкая улыбка тронула ее еще свежие полные губы.

– Ты ведь уже взрослый, Вадим, – сказала она. – Но мне просто смешно слышать, что в Ленинграде молодому человеку делать нечего.

– Я имел в виду другое, – сказал Вадим.

– Поступай как знаешь, – принесся из кухни эмалированный чайник, мягко проговорила она. – И ради бога, не считай себя неудачником! Не каждому человеку дано сразу себя открыть... Живи, оглядывайся, ищи себе дело по душе. И еще тебе один совет: переводись из великопольского пединститута в ленинградский или еще лучше в университет.

– Учебу я не брошу, – нахмурившись, твердо ответил Вадим и даже чашкой пристукнул по блюдцу.

– Пропишешься – легче будет оформить перевод, – про-

должала Василиса Степановна. – А лучше – сразу переводись на дневное отделение.

– У тебя на шее сидеть? – блеснул он позеленевшими глазами на Василису. И даже сам не заметил, что перешел на «ты». – Нет уж! Буду работать и учиться, мне не привыкать.

– Понимаешь, Вадим, одно дело учиться на заочном, другое – на дневном, – мягко начала она. – Ты приобретешь гораздо больше знаний, у тебя появятся новые друзья... Вот ты сейчас учишься на заочном отделении. Много ты почерпнул?

– Культуры у меня маловато, – усмехнулся он.

– Этого нечего стесняться, – сказала она. – Культура, как и знания, постепенно приобретается. И в этом смысле Ленинград незаменим. Настоящего ленинградца сразу узнаешь по культурному, интеллигентному обращению. Спроси у кого-нибудь на улице, как тебе пройти к музею или памятнику. Ленинградец остановится, обстоятельно все расскажет, а если это близко, даже проводит.

– Все верно, – после долгого раздумья ответил Вадим. – Но на жизнь себе я заработаю сам, Василиса Прекрасная...

– Называй меня так, если тебе нравится, – улыбнулась она.

И он снова поразился, какая у нее славная, добрая улыбка. У него на языке давно вертелся вопрос: дескать, тебя, наверное, в школе любят ребяташки? Сам он учителей не любил, очевидно, потому, что часто от них доставалось на орехи. Случалось, выгоняли из класса, вызывали в школу отца,

даже дважды исключали на несколько дней.

– Поступив на дневное отделение, – гнула свое Василиса Степановна, – ты сможешь вечером подрабатывать... если моя помощь для тебя унижительна... Я заканчивала педагогический и одновременно вела уроки литературы в вечерней школе рабочей молодежи.

– Не в этом дело! – отмахнулся Вадим.

Ну как она не понимает, что ему двадцать лет, он уже взрослый. Как хорошо к нему ни относилась бы Василиса, он постоянно будет чувствовать, что зависит от нее, а Вадим с детства привык быть независимым. Он не мог заставить себя делать то, что ему было не по душе. А всем казалось, что он боится работы. А когда попытался с отчимом поговорить, тот его не понял. Он заявил, что еще ни разу в жизни не усомнился в правильности выбранного им в молодости пути. Начал рядовым путейцем и вот дорос до начальника дистанции пути. Уважают железнодорожники, почет и уважение от начальства. Так уж заведено: человек с чего-то начинает, потом в течение всей своей жизни идет и идет вперед от малого к большому. Это, наверное, и есть долбить в одну точку! Не каждому это удастся, но тот, кто честно живет и работает, всегда добивается успеха. И даже привел избитый пример про солдата, таскающего в ранце жезл маршала...

Отец, мать и многие знакомые считают Вадима легкомысленным человеком, ни к чему не стремящимся, пустым фантазером. Герка Голубков назвал его хроническим неудачни-

ком... Может, так оно и есть? Многие его знакомые давно нашли себе дело по душе, и его тревоги им неведомы. Что же все таки его заставляет прыгать с места на место, хвататься за одно, потом за другое?.. Но где-то в глубине души Вадим свято верил в счастливый конец своих метаний, в тот самый счастливый конец, который привык находить в своих любимых книжках...

Сидя в уютной квартире Василисы Прекрасной, он думал о том, что сейчас, кроме жалкого чемодана, у него ничего нет, но пройдут годы, будет у него любимое дело. Придет уверенность в себе, чувство необходимости на этой земле. Как все это произойдет, он понятия не имел, но знал, что все устроится, незаметно, само собой. Вот только жену будущую и детей своих он не мог пока себе представить, тут фантазии не хватало... Почему же он это знает, а близкие люди не хотят его понять? Правда, о Василисе нельзя этого сказать, она, кажется, все понимает.

Красавина коротко поведала ему о своих родных: мать, отец, два брата – все погибли в блокаду. Отец не был призван в армию – у него был диабет. Однако пошел в ополчение, где и нашла его фашистская пуля. Братья умерли от голода, мать чуть раньше погибла под развалинами их дома, в который угодил тяжелый снаряд...

Сидя за столом напротив нее, Вадим понимал, что сейчас решается его судьба. Еще в поезде он предположить не мог, что будет жить у Красавиной, больше того, она заявила, что

эта квартира принадлежит ему так же, как и ей, поэтому он не должен чувствовать себя гостем. Иван Васильевич любил своего единственного сына, верил, что тот будет счастлив.

– Ты пишешь стихи? – спросила Василиса.

Вадим честно признался:

– Мои стихи годятся для стенгазеты. Рифмоплет я, а не поэт. Напишу что-нибудь, потом возьму томик Пушкина или Фета и выбрасываю свои стихи на помойку.

– Это хорошо, что ты так строго судишь себя, – задумчиво глядя на него синими глазами, произнесла женщина.

Василисе Степановне нужно было в школу, Вадим выврался проводить ее. Дождя не было, но тротуары, проезжая часть дороги – все влажно блестело. Над высокими крышами зданий ползли низкие серые облака. С непривычки его оглушили гудки автомобилей, грохот и звонки трамваев – обычные шумы большого города.

– Вот она какая, Лиговка, – озираясь, взволнованно проговорил Вадим. – Знакомая и незнакомая...

– Видишь пятиэтажный дом? – показала Красавина. – Нет еще нижнего колена водосточной трубы. Так у него не было передней стены, когда я сюда приехала. Этажные перекрытия и открытые квартиры... В одной виднелась картина «Возвращение блудного сына».

– Почти про меня, – криво улыбнулся Вадим. Он видел в какой-то книжке репродукцию этой знаменитой картины: бритоголовый юноша стоит на коленях перед слепым от-

цом...

– Завтра же ходим с тобой в Эрмитаж, – сказала Красавина.

– Вот тут мне... – Вадим запнулся, – отец покупал вафельное мороженое.

– А я любила эскимо на палочке, – улыbnулась Василиса Степановна. В узком плюшевом пальто, вязаной шапочке с помпоном она выглядела совсем молодой. В руке разбухший от тетрадок кожаный портфель с блестящим замком.

На углу, где гастроном, она остановилась и показала в глубь переулка:

– Там моя школа.

Вадим пешком дошел до Московского вокзала, повернул на Невский и влился в негустой поток прохожих. Ему захотелось пройти проспект до конца, до здания Адмиралтейства, позолоченная стрела которого воткнулась в хмурое серое небо.

### 3

Когда полуоснащенным кузовом легкового автомобиля «ЗИС-110», сорвавшимся с подъемного крана, накрыло Алексея Листунова, Игорь Найденов первым бросился на помощь. Черный, сверкающий свежим лаком корпус машины передней частью придавил слесарю-сборщику правую часть груди и руку. Бледное лицо Листунова исказилось от

боли, глаза побелели, однако он не кричал, лишь негромкий стон вырывался из его крепко сжатых, посиневших губ. Напрягая все силы, Игорь миллиметр за миллиметром отрывал врезавшийся в ладони край кузова от пострадавшего. Тут подскочили другие, кузов опрокинули набок, окружили Алексея. Дотрагиваться до него опасались: вдруг повреждены внутренности? Грудь Листунова вздымалась, дыхание вырывалось с хрипом, он смотрел на товарищей и молчал. Скоро прибежали врач и санитары с носилками.

– Спасибо, Игорек, – слабым голосом сказал Алексей, когда его уносили к «скорой помощи». Он даже попробовал улыбнуться, но тут же от боли закусил нижнюю губу.

Врач сообщил начальнику цеха Всеволоду Анатольевичу Филиппову, что сломаны рука и, кажется, ребра. В общем, Листунов счастливо отделался, могло быть и хуже. Начальник при всех поблагодарил Игоря, заявив, что, если бы не он, Алексея раздавило бы. Просто из любопытства Игорь снова попробовал было поднять тяжеленный край кузова, но не смог даже оторвать от пола. Но ведь только что он несколько секунд, пока не подоспели остальные, почти на весу держал эту махину... Прибежала из кузовного цеха Катя Волкова. Она была в синей спецовке, на голове белая косынка, черный завиток волос, вырвавшийся на свободу, вился возле круглой щеки, в карих глазах мельтешили блестящие искорки.

– Мне сказали, что это ты спас Алешу?

Игорь устало отмахнулся:

– Я ближе всех был к нему.

– Я горжусь тобой! – шепнула она.

– Узнай, в какую больницу увезли Лешу, – сказал Игорь.

– Я тебя жду у проходной, – тихо произнесла она и, заправив прядь под платок, пошла в свой цех.

Он равнодушно смотрел ей вслед и ничего не испытывал. Даже похвала ее не обрадовала. Катя нравилась многим из цеха сборки, где работал Игорь, он знал, что ему завидуют.. Хотя он и не афишировал своих отношений с Катей Волковой – одной из лучших обивочниц кузовного цеха, ребята-то всё замечали. Зачем, спрашивается, нужно было ей прибегать сюда? И после работы могли бы поговорить. Если первое время он поджидал девушку за проходной и провожал до дома, то последние полгода Катя не давала ему прохода: доставала билеты в театры, кино, таскала в музеи. Редкое воскресенье он оставался один. Даже взяла манеру заявляться к нему в общежитие. Из-за Кати Волковой у него вконец испортились отношения с Семеном Линдиным. Тогда в пригороде, где ребята праздновали день рождения Кати-Катерины и Игорь с ними познакомился, он подумал, что за ней ухаживает Алексей. Впрочем, тогда они были навеселе, и не поймешь, кто был с кем. Листунов ростом чуть пониже Игоря, плечистый, сероглазый, с густыми темными волосами, которые он зачесывал назад. На круглом лице выпирают скулы, подбородок чуть раздвоенный. Всегда веселый, готовый ответить шуткой. В цехе Листунова многие всерьез не прини-

мали, считая за трепача. Алексею нравилось валять дурака, смешить людей, но, как Игорь заметил, он был далеко не прост. Как бы там ни было, но они сдружились.

Семен Линдин был полной противоположностью Листунова: короткое туловище с размаху поставлено на тонкие кривоватые ноги, лицо узкое, с длинным носом, большие желтоватые глаза смотрели на всех равнодушно, смеялся он редко, любил подтрунивать над другими, что, конечно, многим не нравилось.

Оказывается, это Семен Линдин был влюблен в Катю-Катерину, она сама об этом как-то со смехом поведала Игорю. Если сначала не только Алексей, но и Семен всячески помогали Игорю освоиться на огромном автомобильном заводе, то позже Линдин сделал Найденова главным объектом своих язвительных насмешек. Как только заметил, что Катя-Катерина взяла шефство над новичком. Кстати, и Маша Мешкова, член цехового комитета комсомола, опекала Игоря, Это она надоумила его не тянуть и подать заявление в комсомол, дала рекомендацию, вторую охотно написала Катя Волкова. Найденов было сунулся к Семену Линдину, но тот, скривив тонкие губы, заявил:

– Я тебя, Найденов, еще мало знаю...

– Надо вместе пуд соли съесть? – обиделся Игорь.

– Ты же хотел в университет? – продолжал Семен. – Собирался стать полиглотом... Не понимаю, чего ты полез в рабочие?

Игорь знал: это из-за Кати. Посмотрел бы на себя в зеркало и искал бы девушку по себе. Так нет, на Машу Мешкову и не смотрит, подавай ему красавицу!.. Если уж на то пошло, инициативу проявляла сама Волкова. Он вспомнил, как приехал в Москву...

Огромный город понравился ему. Сначала он хотел устроиться рабочим на строительстве метрополитена – объявления висели повсюду, но, поразмыслив, решил, что смену трубить в шахте под землей – это не для него. Черт с ними, с заманчивыми заработками! На земле жить и видеть небо как-то приятнее... И тогда он вспомнил про компанию, с которой повстречался у заветной березы, позвонил Алексею Листунову, потом Кате-Катринс... Если Алексей с трудом вспомнил его, то девушка явно обрадовалась звонку. После нескольких встреч – Игорь тогда жил у родственницы своей детдомовской учительницы на улице Чайковского – Катя сама заговорила о том, что ему хорошо бы поступить на ЗИС, мол, она в кузовном цехе профсоюзная активистка и постарается все уладить... Московский автомобильный завод имени Сталина, бывший АМО, был одним из крупнейших предприятий в столице, в него брали в основном с московской пропиской. Девушка устроила Игоря в лучшем общежитии для молодых рабочих. Нашлось свободное место в комнате, где жил и Семен Линдин.

Вместо техникума Игорь поступил на курсы английского языка при школе рабочей молодежи, в которую он записался.

Решил, что лучше все-таки закончить десятилетку, получить аттестат зрелости, а потом можно попытаться и в институт. Английский язык его привлекал, недаром в свидетельстве за семилетку по иностранному языку стояла пятерка.

Его приняли учеником слесаря-сборщика в огромный цех сборки. Первое время он не мог опомниться от грандиозности завода: высоченные светлые цеха, длинный конвейер, сложные станки, запах лака и новой обивки.

Через три месяца присвоили разряд, через полгода другой, а теперь он автослесарь четвертого разряда и зарабатывает около двух тысяч рублей в месяц. Начальник цеха сборки Филиппов на производственном собрании отметил Найденова в числе лучших рабочих. Завод нравился Игорю, да и работа была интересной: научился быстро собирать моторы, особенно нравилось запускать только что сошедший с конвейера двигатель. Первый хлопок, затем нарастающий рокот – это как крик новорожденного ребенка... Так однажды выразился начальник цеха. Много таких мощных новеньких «детей» прошло через руки Найденова.

В школе тоже все шло своим чередом. С первой же зарплаты он купил учебников, словарей и в свободное время с удовольствием изучал английский язык. Иногда он в цехе произносил несколько понравившихся фраз по-английски. Рабочие с удивлением смотрели на него, однако в их взглядах сквозило уважение, что приятно щекотало самолюбие Игоря.

Через несколько месяцев мог с трудом читать, а вот разговаривать пока не мог. С учительницей на курсах старался изъясняться по-английски, но стоило где-нибудь на стороне раскрыть рот, как язык становился неповоротливым, а фразы получались корявыми. . . Несколько раз приходил к гостинице «Националь», шатался в вестибюле, прислушивался к английской речи, но понимал иностранцев плохо. Или они быстро произносили слова, или само произношение отличалось от учебной речи.

Они зашли с Катей в кафе на Петровке. Как всегда, здесь было много народа, за их столиком сидела пожилая пара, впрочем, занятые едой и разговорами, никто друг на друга не обращал внимания. Игорь уже давно заметил, что в этом кафе бывает много женщин, в других такого не замечал. По-видимому, неподалеку было какое-то учреждение, женщины и девушки заказывали сосиски с лимонадом.

Катя была в легком габардиновом пальто, на голове синий берет, лицо ее порозовело. Мужчины с соседних столов украдкой бросали на нес взгляды. Игорю было приятно, что на его девушку обращают внимание. Хотя на стене виднелась табличка «Не курить!», все курили, вытащил пачку папирос и Игорь. Получив первую зарплату, он вместе с Алексеем Листуновым и Семеном Линдиным «обмыл» се. Почувствовав себя наконец-то мужчиной, Найденов перестал уклоняться от выпивок в компаниях. Для себя сделал вывод: бутылка здорово помогает сблизиться с людьми, даст воз-

возможность найти с любимым общий язык. Меру он знал, никогда не перепивал и голову не терял. Взял за правило на другой день не опохмеляться.

– Когда сказали, что в сборке кузовом слесаря накрыло, у меня даже в глазах потемнело, – рассказывала девушка. – Бегу туда, света белого не вижу, а вдруг, думаю, ты?

– А если бы я? – подначил он, глядя на нее с легкой улыбкой.

– Я... я выцарапала бы глаза крановщику! – выпалила она.

– Он не виноват, – сказал Игорь. – Захват оборвался. Кто мог такое ожидать?

– Бедный Лешка, – вздохнула она. – В субботу после работы навестим его?

– В субботу у меня тренировка... Давай в воскресенье?

– Я ему груш на базаре куплю, – сказала Катя. – Он их любит.

– Откуда ты знаешь? – ревниво спросил Игорь.

– Я знаю, что ты любишь котлеты по-киевски, – улыбнулась она. – А Семен обожает бутерброды с маслом и красной икрой. Один раз на моих глазах слопал десять штук!

– Ты что, считала? – улыбнулся он.

– Я просто наблюдательная, – проговорила Катя, Глядя на девушку, думал: почему, когда добиваешься женщину, то готов на все – часами дожидаться в парке на скамейке, крутиться в дождь и метель возле ее подъезда, глазеть на пустые окна, моля бога, чтобы вспыхнул в ее комнате свет, и тогда

стремглав к будке телефона-автомата, чтобы позвонить... А теперь, когда она принадлежит ему, он спокоен, ничто его не волнует, конечно, приятно, что она рядом, но если бы ее сейчас не было тут, он особенно не огорчился бы. В душе он убежден, что Катя-Катерина никуда не денется: вон какими счастливыми глазами на него смотрит...

– Я уже по-английски могу читать, – похвастал он. – Правда, пока еще со словарем.

– А я в этом году получу в вечерней школе аттестат и подам документы в наш автомобильно-дорожный институт, на конструкторско-механический факультет.

– Тоже мне конструктор! – усмехнулся он.

Она опустила глаза, улыбка погасла на ее лице; кроша пальцами сухарик, холодно заметила:

– Мне в сентябре премию дали за два рационализаторских предложения – было бы тебе, гений, известно.

– Мне-то что, поступай, – усмехнувшись, сказал он. Ему сейчас действительно были безразличны ее дела.

– Тебе-то что! – вспыхнула девушка. – Тебе до меня и дела нет...

– Что за рацпредложения? – поняв, что сморозил глупость, попытался он исправить положение, но Катя не на шутку обиделась.

– Давай лучше поговорим, какой ты способный, смелый, сильный...

Из кафе вышли с испорченным настроением, не смотрели

друг на друга. Игорь предложил ее на такси подбросить до дома, но девушка отказалась, сказав, что еще хочет зайти к подруге. Расстались холодно. Обычно она подставляла прохладную щеку для поцелуя, а тут даже руки не протянула.

«Ладно, проветрись, Катя-Катерина, – самодовольно думал Игорь, шагая по Петровке мимо Центрального универмага. – Никуда, моя красавица, не денешься...» Он вспомнил, как все у них случилось в первый раз. Он уже с месяца работал на ЗИСе, частенько провожал Катю до дома, но в квартиру она его не приглашала, – мол, у нее строгая мать, не любит, когда посторонние приходят... И в этот раз Игорь остановился с ней внизу у лифта, прижал к себе и стал целовать... Катя отвечала ему, гладила пальцами волосы на затылке. Вот тогда впервые он и заметил, что, хотя она вся горит, щеки у нее почему-то прохладные. Тело у нее крепкое, не ущипнешь! Да и вся она сбитая, округлая; когда он целовал ее, девушка откидывала голову и закрывала глаза, так что черные ресницы трепетали. Лишь хлопнула входная дверь парадной, он отпустил девушку, а она все еще стояла с зажмуренными глазами, потом медленно раскрыла их, снизу вверх посмотрела ему в глаза.

– Ну, чего ты вздыхаешь? – прошептала она.

– Вздыхаю? – ответил он. – А я и не замечаю... Катя, я...

– Мама сегодня дежурит в больнице, – совсем тихо произнесла она.

– А соседи? – тоже почему-то шепотом спросил он. Серд-

це его гулко застучало.

– Что соседи?

– Катенька, родная...

Они поднялись на четвертый этаж. Деревянные перила были отполированы до желтого блеска, на каждой лестничной площадке лампочка в проволочной сетке освещала почтовые ящики, наклепленные на высокие двери, многочисленные кнопки звонков с бумажками, кому сколько раз звонить. Девушка волновалась, она не сразу попала в скважину большим, с зазубринами ключом. Открыв дверь, велела ему подождать на площадке, а сама скрылась в длинном, с многими дверями, темном коридоре. Игорь заметил, что стены его оклеены бурыми с какими-то синими ромбами обоями. На высокой тумбочке черный телефон. Немного погодя появилась Катя, уже без пальто, и, приложив палец к губам, кивнула: мол, скорее...

Комната у них большая, с высоким потолком, мебель старинная, бронзовая люстра с тремя лампочками, над Катиным диваном, накрытым шерстяным пледом, куда она его усадила, были пришпилены кнопками фотографии известных артистов: Петра Алейникова, Николая Крючкова, Евгения Самойлова. И все трое жизнерадостно улыбались. Особенно обаятельная улыбка была у Алейникова.

Катя быстро накрыла на стол, выходя на кухню, всякий раз тщательно прикрывала дверь. Она принесла из кухни дымящуюся сковороду с жареной колбасой и яичницей. Выключи-

чила люстру, а вместо нее зажгла лампу под пышным шелковым абажуром. В большой квадратной комнате с двумя окнами сразу стало уютнее, фотографии артистов попали в тень, улыбки их погасли.

Прижавшись друг к другу, они танцевали медленное танго. Игорь смотрел в ее сияющие глаза и верил, что любит эту девушку, он даже несколько раз повторил ей эти слова и сам удивился, как легко они сорвались с губ. Катя молчала, смотрела ему в глаза, не противилась, когда он целовал ее, теснее прижимал в танце к себе, а когда они очутились на диване и руки Игоря стали расстегивать крупные пуговицы на ее кофточке, вдруг оттолкнула его и, пряча глаза, тихо произнесла:

– Уходи, Игорь! Если это случится, я... я никогда не прощу себе!

Если бы он стал умолять, снова клясться в любви, возможно, ничего и не произошло бы, но он молча встал и пошел к двери. Он даже не услышал ее шагов, только почувствовал на своей шее ее руки и стук ее сердца.

– Ну почему ты такой? – чуть не плача, шептала она. – Говоришь – любишь, а глаза у тебя пустые...

– Где я другие-то возьму? – обиделся Игорь. Раньше она говорила, что у него красивые глаза.

– Ну а потом? Что будет потом? – тихо спрашивала она.  
... А потом она плакала, уткнув лицо ему в грудь, от волос ее пахло полевыми цветами – то ли васильками, то ли ро-

машкой, а он, счастливый и опустошенный, лежал на диване и смотрел в белый потолок, по которому ползли и ползли голубоватые отблески от фар пронесившихся внизу машин, троллейбусов. Скажи она, мол, пойдем завтра в загс, он бы не раздумывая согласился, но она ничего не сказала. Тихо плакала, отвернувшись к стене, маленький нос ее покраснел, округлое белое плечо вздрагивало.

«Ну чего слезы льешь, чудачка? – лениво думал он. – Никак они без этого не могут...» И ему ни капельки не было жаль девушку, даже не хотелось утешать ее...

Рано утром она разбудила его, на столе уже стоял чайник, на тарелке – бутерброды с колбасой и сыром.

Они пили чай из высоких фаянсовых кружек, он то и дело ловил на себе ее испытующий взгляд. Губы у нее вспухли, на щеке – красное пятно, но лицо свежее, глаза блестят.

– Ну и горазд ты спать, победитель! – улыбнулась Катя.

Он про себя поразился, как верно она почувствовала его настроение, – он действительно ощущал себя победителем, когда, продрвав глаза, увидел на столе дымящийся чайник, хотел сострить, мол, почему не подают кофе в постель, но вовремя опомнился: Катя неглупая девушка и обиделась бы на такую шутку.

– Слушай, если ты хочешь, мы это... поженимся, – сказал он.

Он ожидал, что она страшно обрадуется, бросится ему на шею, но Катя резко повернулась к нему, глаза се сверкнули

из-под спустившихся на лоб волос.

– Если я захочу... – повторила она. – А ты? Ты этого хочешь?

– Я? – глупо спросил он. – Ну да, конечно, хочу...

– Не будем пока об этом говорить, – вдруг улыбнулась Катя. Подошла к нему, поднялась на цыпочки и крепко поцеловала в губы. – Я не хочу, милый, чтобы это было по обязанности... Ты сам поймешь, когда это будет надо...

Больше он не говорил ей о своей любви, не предлагал жениться. Иногда читал в Катиных глазах немой вопрос: когда же? Но жениться на ней ему уже не хотелось. Зачем обзаводиться семьей? А Катя... Она всегда и так рядом. Порой это даже раздражает. Частенько прибегает в цех сборки и угощает его бутербродами, в столовой всегда занимает за столом место для него. И чем больше она проявляла внимания к нему, тем меньше хотелось встречаться с ней. На свете так много других красивых девушек! Вот если бы жениться на них всех разом!..

Представив себя султаном с гаремом в небоскребе, Игорь чуть не рассмеялся и тут же поймал веселый, искрящийся взгляд рыжей девчушки, с которой чуть не столкнулся. Рыжих он не любил. Шагая по Петровке, он с удовольствием смотрел на миловидных молодых женщин, да и они отвечали ему тем же. На дворе осень, а настроение у него хорошее, даже легкая ссора с Катей не отразилась на нем. Заметив стройную хорошенькую девушку в узком в талии паль-

то и кокетливой меховой шапочке, – незнакомка чуть заметно улыбнулась ему уголками накрашенных губ, – Игорь, как солдат, сделав кругом, повернул за ней.

# Глава пятая

## 1

В дверь просунула завитую голову секретарша и сказала:

– Дмитрий Андреевич, тут к вам рвется какой-то борода-тый дед...

– Не какой-то дед, мамзель, а плотник Тимаш, какова первый секретарь, как родного отца, сто годов знает. – Отстранив ее, в кабинет вошел старик в желтом, с заплатками на локтях полушубке и заячьей шапкой в руках.

– Разделись бы, дедушка, – глядя на Абросимова, развела руками секретарша, но Дмитрий Андреевич уже поднимался из-за стола и, сняв очки, радушно шел навстречу старику.

– Ково по записи, а меня Андреич завсегда и так примет, коли надо, – разглагольствовал Тимаш.

Дмитрий Андреевич помог ему раздеться, пахучий полушубок и шапку положил на черный диван с высокой спинкой, стоявший напротив окон у стены.

– Живой, здоровый, Тимофей Иванович? – приветствовал земляка Дмитрий Андреевич. Он действительно был рад видеть его. Тимаш впервые пожаловал в райком партии. Надо сказать, что односельчане не особенно частые гости в его кабинете. Как-то не принято у жителей Андреевки ходить по

начальству.

Посадив старика на диван, Дмитрий Андреевич присел рядом, протянул папиросы, спички. Закурили. Дед Тимаш мало изменился – бывает такой возраст у старых людей, когда они почти не меняются, будто бы законсервировались. Может, борода сильнее поседела да морщин на задубелом лице стало больше, а глаза такие же живые, с хитринкой, корявые руки в ссадинах, старых рубцах: старик не бросает своего плотницкого дела, да иначе и как бы ему прокормиться?

Дмитрий Андреевич стал расспрашивать про поселковые дела. Довольны ли новым председателем поселкового Совета? По осени избрали председателем Михаила Петровича Корнилова, демобилизовавшегося из армии в чине майора, Абросимов его и рекомендовал.

– Мишку-то я учил плотницкому делу, – вспомнил Тимаш. – Справедливый мужик.

– Начали новую поликлинику-то строить? – поинтересовался секретарь райкома.

– Нашенский, а в Андреевку и носа почти не кажешь, – упрекнул Тимаш. – Фундамент заложили... Кто же зимой будет на холоду строить?

Не такой уж у Абросимова и район большой, случается проезжать неподалеку от родного дома, а вот времени завернуть порой не хватает. Никогда Абросимов не думал, что секретарская работа так сложна и трудна. Климово расширя-

ется, началось строительство крупного завода железобетонных конструкций, значит, потребуются рабочие руки, а для приезжих нужно строить жилые дома. Строительство строительством, но в районе с десятков колхозов и два совхоза, там тоже вводятся новшества, а председатели не очень-то расквашиваются: привыкли работать по старинке. Двоих на бюро сняли с должностей, назначили председателями работников райкома партии. Кроме хозяйственных забот есть и другие: начальник станции был вызван на бюро за крушение, произошедшее по вине диспетчера. Товарняк сшиб два пульмановских вагона с лесом, неизвестно каким образом попавших на занятый путь. На днях произошло ЧП в школе: мальчишки нашли где-то не разорвавшийся с войны снаряд, стали ковырять гвоздем – и в результате взрыв! Двое погибли, а четверых доставили в больницу с осколочными ранениями. Нет-нет да и напомним о себе прошедшая война.

Жена говорила, что он сильно похудел. Впрочем, это только на пользу, хуже другое – сердце стало прихватывать. Был у врача, тот сказал, что пока ничего серьезного, обыкновенный невроз и зачатки стенокардии. Нужно давать себе отдых, а он вот уже два года не был в отпуске. Приходит в райком к девяти, а домой возвращается иногда в первом часу ночи. Доводилось иногда и ночевать вот на этом самом диване. В шкафу постельное белье, подушка и одеяло. Первый секретарь обкома тоже засиживается допоздна. Днем текущие дела, поездки по району, во второй половине дня прием посе-

тителей, различные совещания-заседания, не успеешь оглянуться – уже и вечер. На столе гора непрочитанных бумаг, заявлений, инструкций, указаний. Даже не верится, что есть люди, которые приходят на работу по гудку и по гудку, минута в минуту, уходят с предприятия.

Обо всем этом не расскажешь Тимашу, он не поймет. Чего, скажет, торчать в кабинете и ждать какого-то дурацкого звонка? Шел бы домой, к семье... Первое время Дмитрий Андреевич так и поступал, но когда однажды ночью на квартиру позвонил первый секретарь обкома и спросил, сколько за последний квартал шифоньеров сделала местная мебельная фабрика и отгружены ли они потребителю, он ничего не смог ему ответить, потому что документов под рукой не было. Не таскать же все бумаги домой? И тогда первый секретарь ворчливо заметил, что не надо быть умнее других: сам товарищ Сталин, когда был жив, до ночи сидел в Кремле в своем кабинете...

Вот и получается: секретарь ЦК сидит в кабинете допоздна, секретарь обкома домой не уходит, и секретарь райкома в глубинке мается. Высокое начальство взяло привычку именно после десяти вечера звонить и выяснять разные текущие дела. Предшественник Абросимова, – кстати, его перевели в областной комитет партии с повышением, – рассказывал, что вечерами, сидя у телефона в райкомовском кабинете, ухитрился заочный пединститут закончить.

– Мать не хворает? – спросил Дмитрий Андреевич.

Дед Тимаш заерзал на диване, захихикал в бороду.

Валенки у него разные: один белый, другой серый, из замасленных ватных штанов неопределенного цвета вата торчит. Он все еще донашивает военные гимнастерки и подпоясан командирским кожаным ремнем со звездой.

– Я тут намеренно зашел к Ефимье, должок отдал и толкую ей, дескать, ты одна, старуха, и я один, давай обкрутимся? Я тебя и без приданого возьму. Дык она в меня чугуном с картошкой запустила, хорошо увернулся, а то инвалидом бы сделала... – Тимаш заквохтал, как курица, тыльной стороной ладони вытер заслезившиеся глаза.

– Все чудишь, дед, – улыбнулся и Дмитрий Андреевич.

– От покойницы матушки еще слышал, что уродился я на этот белый свет со смехом и помру таким веселым.

– Пришел-то по делу или так, посмеяться?

– По делу, Андреич, по делу, – посерьезнел старик. – Вчерась Мишка Корнилов взял под мышку энтот... бюст Сталина в енеральской форме, при орденах, и оттащил на чердак. Рази так можно? Я ему сделал выговор, так он смеется в лицо и говорит, что я тоже могу со стенки содрать портрет Сталина... Да раньше за такие шутки...

– То раньше, – перебил Дмитрий Андреевич.

– И у тебя, гляжу, портрета вождя народов нету? – оглядел стены кабинета Тимаш.

– Какое у тебя дело-то? – спросил Дмитрий Андреевич.

– Хучь мне и много годов-то, я ишо скор на ногу, – стал

рассказывать дед Тимаш. – Ну вот, дело-то по осени было, ишо снег не выпал, взял я свою берданку и пошел, значит, в Мамаевский бор глухаря промышлять...

– Охота на глухарей запрещена, – вставил Абросимов.

– Погоди ты! – досадливо отмахнулся тот. – Просто, думаешь, краснобрового дурня свалить? Петька Корнилов да Анисим Петухов ишо до войны, почитай, всех выбили... Да не об этом я! Заместо глухаря попалась мне в Мамаевском бору Аглая, женка Матюхи Лисицына – главного полиция после Леньки Супроновича. Очень уж испужалась она, встреча меня, аж из рук корзинку выронила, а оттуда выкатилась на мох алюминиевая кастрюля с крышкой и еще кой-что из посуды...

– Вот это новость! – поднялся с дивана Дмитрий Андреевич и заходил по устланному зеленой дорожкой кабинету. Остановившись напротив Тимаша, строго уставился на него: – Чего же раньше-то молчал? Нужно было сразу сообщить!

– Дурень я старый, вот что, Андреич, – понурился Тимаш. – Пентюх! Медальку-то за войну мне так и не дали, дык захотел в мирное время заработать... Думаю, сам пымаю Матюху Лисицына и в клубе ты самолично на грудь мне повешишь боевую медаль, а можа, и орден... До первых заморозков ходил с берданкой в Мамаев бор, обшарил всю округу, а проклятущего полиция-душегуба так и не нашел. Видать, женка его предупредила и он ушел из наших мест. Я и за ей поглядывал, только она больше в лес днем не хаживала.

Старик, вздыхая и качая головой, достал из ватных штанов какую-то штуку, завернутую в промасленную тряпицу, развернул и положил на стол перед изумленным секретарем райкома парабеллум.

– Какой-то детектив! – воскликнул Абросимов. – Откуда он у тебя?

– Трофейный, ишо с войны, – сказал Тимаш. – Помнишь, ты и Иван Васильевич Кузнецов напали на комендатуру? Много тогда карателей постреляли и дом сожгли, так я в траве и подобрал эту хреновину. Правда, выстрельнуть ни разу не пришлось... Куда он мне? Не разбойник, чай, с большой дороги. А какого зайчишку – дык я из берданки за милую душу подстрелю.

Дмитрий Андреевич вертел в руках парабеллум: не видно ржавчины, в рукоятке целая обойма. Хорошая штука! Такой же у него был в войну. Выдвинув ящик письменного стола, положил туда оружие.

– А случайно у тебя автомата и какой-нибудь пушечки не завалилось? – с улыбкой спросил он.

– Я вот о чем думаю, Андреич, – задумчиво проговорил Тимаш. – Возьми Леньку Супроновича или этого Матюху Лисицына. Паразиты, душегубы, а вот, поди ж ты, к родному дому тянет! В газетах-то пишут, что вылавливают вражьих сынов в борах-болотах. И этих еще... дезертиров. Ну Лешка-то Супронович сюда не заявится, ево батька и на порог бы свово дома не пустил! Обчистил его сынок, как белка еловую

пишку. Все золотишко и камушки, что кабатчик всю жизнь копил, со своими молодцами забрал. А Якова Ильича ишо и огоньком малость прижгли. Думаю, нипочем не сунется сюда Ленька, коли живой еще.

– Да-а, нечисть еще прячется по темным углам, – согласился Дмитрий Андреевич. – И все ж зря ты, Тимофей Иванович, сразу не сообщил нам о своих подозрениях.

– А коли помстилось мне все это? – возразил старик. – Затаскают ведь по милициям бабенку! Може, она к леснику, что на кордоне у озера живет, хаживала? Баба еще не старая, без мужика уж который год, вот и завела бирюка-полюбовника в лесу.

Дед полез было за махоркой в карман полушубка, но Абросимов подал ему папиросы, чиркнул спичкой.

– Спасибо тебе, Тимофей Иванович, что зашел и за этот трофей... – кивнул Абросимов на письменный стол, куда убрал парабеллум.

– Я знаю, у тебя делов полон рот, – поднялся с дивана Тимаш и стал натягивать полушубок. Шапка упала на пол, Дмитрий Андреевич поднял, подал ему.

– Я передам куда полагается, – сказал он.

Уже у двери старик, хитро сощуриив глаза, проговорил:

– Штучка-то справная, небось любой дал бы за нее на бутылку?

Абросимов достал из кармана зеленого кителя портмоне, вытащил пятидесятирублевку, протянул старику. Тот ловко

засунул ее в недра ватных штанов, поклонился:

– Благодарствую, Андреич! Нынче же помяну твоего ба-  
тюшку и мово незабвенного друга Андрея Ивановича – ан-  
дреевского кавалера.

Видя, что Тимаш мнетя у порога и не надевает шапку,  
секретарь райкома спросил:

– Говори, Тимофей Иванович, не стесняйся...

– Пенсия у меня больно уж маленькая, Андреич, – вздох-  
нул Тимаш. – Выдадут в собесе – кот наплакал. А я ведь и  
дня без дела не сидел... Да и в войну, сам знаешь, помогал  
Ивану Васильевичу, все, что просил, в точности исполнял.

– Бумаги-то у тебя все есть? – делая пометку в настоль-  
ном блокноте, спросил Абросимов. – Ну, трудовая книжка,  
справки?

– Все в поселковом Совете, у Мишки Корнилова, – ожи-  
вился Тимаш. – Думаешь, Андреич, пересмотрят? На те ко-  
пейки, что я получаю, ноги недолго протянуть, а иттить в  
дом престарелых ой как неохота!

– Все, что от меня зависит, сделаю, Тимофей Иванович, –  
пообещал Абросимов.

– Дай тебе бог всего доброго, Андреич! – Старик обрадо-  
ванно натянул шапку на голову. – Нынче же, – он похлопал  
себя по карману, – выпью и за твое здоровье! – На пороге  
он задержался и, снова став серьезным, спросил: – Помнишь  
Архипа Алексеевича Блинова-то? Царствие ему небесное!  
Мы же с им были дружки-приятели. «Ты – прирожденный

артист-самородок! – говорил он мне. – Тебе бы в клубе выступать...» А я ему: «Чиво уж в клубе, лучше в театре...»

– Чего ты завклубом-то вспомнил? – перебил старика Абросимов.

– Бывало, вечерком зайду к нему – всегда угостит... Бывало, и умные беседы ведем... Понимаешь, Андреич, жил бы и жил еще Архип Алексеевич, ежели бы не одна гнида, что на него донесла Леньке Супроновичу.

– Кто же это донес? – Дмитрий Андреевич с изумлением смотрел на Тимаша: вот дед! Больше всех все ему известно.

Тимаш сдвинул драную шапку на затылок, почесал голову, лицо его сморщилось, глаза под седыми бровями превратились в узкие щелочки.

– Ходит по земле такая гадина, да вот беда – следов не оставляет... Наш он, андреевский! Носом чую! А кто – покедова не ведаю. Друг-приятель был мне Архип Алексеевич... Веришь, ночью приходит во сне и просит отомстить за него... А кто энтот враг – не указывает!

– Узнаешь что, Тимофей Иванович, ради бога, сообщи, – попросил Дмитрий Андреевич. – Я тоже уважал Блинова. И погиб он геройской смертью... Так ты думаешь, предатель и сейчас в Андреевке?

– Можя, и удрал с Ленькой, кто ж его знает? – Тимаш взглянул ясными глазами на секретаря райкома. – А можя, и в Андреевке – тише воды, ниже травы... А просить меня не надоть, Андреич, я сам на гада ползучего зуб за покойного

Архипа имею!..

Когда за ним закрылась дверь, секретарь райкома сел в кресло и, глядя на обитую дерматином дверь, задумался, потом снял трубку и по памяти назвал номер телефона.

– Александр Михайлович, здравствуй! Подъезжай ко мне в райком. Кажется, в Андреевке объявился незванный гость.

## 2

В поселке лесорубов Новины во второй половине дня появился коренастый мужчина лет сорока в черном полушубке и летных унтах. В руке у него был вместительный портфель. Зашел в магазин, взял две бутылки «московской», полкило ветчины, банку маринованных огурцов и напрямик направился к дому солдатки Никитиной. Снег яростно скрипел под унтами, был двадцатиградусный мороз, изо рта человека вырывался пар. Поселок небольшой, домов с полсотни. Ни одного кирпичного здания, даже двухэтажная школа деревянная. Метель намела на крыши сугробы, они причудливо свисали почти до самых карнизов окон. Меж домов кое-где высились огромные сосны и ели, на ветках белели намерзшие комки снега. Людей почти не видно: лесорубы с утра на тракторах уехали на делянки, ребятишки в школе, а хозяйки кухарят дома подле русских печек. Из труб вертикально тянется в чистое зеленоватое небо дым.

Поднявшись на скрипучее промерзшее крыльцо, человек

взял обшарпанный голик, старательно обмел унты и вошел в сени. Полная, в сиреневой косынке, с раскрасневшимся лицом женщина обернулась от печи и с любопытством уставилась на незваного гостя.

– Я к Грибову, – поздоровавшись, сказал тот.

– Иван Сергеевич ранехонько отправился на охоту, – словоохотливо сообщила хозяйка. – Тут у нас зайцев много, давеча двух принес. Говорил, волчьи следы видел.

Человек, стащив с кудрявой головы шапку, осматривался: русская печь с прислоненной к ней длинной лавкой занимала добрую половину кухни, у окна – грубый деревянный стол, накрытый розовой клеенкой, у стены – узкая железная койка, белая двустворчатая дверь вела в горницу. На табуретке сидела большая, серая, с белыми подпалинами кошка и, сузив желтые глаза, смотрела на вошедшего.

– Так и думала – к нам нынче гости, – улыбнулась женщина. – Кошка спозаранку умывалась, гостей звала в дом... Да вы проходите, раздевайтесь, как вас величать-то?

– Виталий Макарович, – ответил он. Снял полушубок, повесил на деревянную вешалку, косо приколоченную у порога.

– Сейчас самовар поставлю, – засуетилась хозяйка. – Небось с дороги-то голодные? Тут в чугушке тушеная зайчатина с картошкой, сейчас подогрею.

Женщина заметно окала; несмотря на полноту, передвигалась легко, плавно – крашенные деревянные половицы раз-

ноголосо пели под ее ногами в серых валенках. Виталий Макарович, смахнув на пол кошку, присел у окна на бурую табуретку, потер большие красные руки одна о другую. От хозяйки это не укрылось.

– Вы погрейтесь у печки, – предложила она. – Холода уже неделю стоят такие, что деревья на улице трещат, да и птицы попрятались. Вон как окна мороз разукрасил! Света божьего не видать.

Кошка подошла к портфелю, поставленному у порога, стала обнюхивать. Пушистый хвост ее медленно елозил по полу. Виталий Макарович полез в карман за папиросами, бросил вопросительный взгляд на хозяйку: мол, можно ли закурить?

– Курите на здоровье. Иван Сергеевич тоже день-деньской дымит, я привыкла, – разрешила она.

– Небось дотемна будет охотиться? – поинтересовался гость, с удовольствием затягиваясь и выпуская в низкий потолок струю сизого дыма.

– Да нет, вот-вот заявится, – уверенно заметила хозяйка.

Действительно, не успел гость чаю напиться – от еды он отказался, – в сенях послышался топот, лай, дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился Ростислав Евгеньевич Карнаков. Поперед него в избу вскочила черная, как головешка, лайка. С ходу сунулась было к незнакомцу, но, резко окликнутая хозяином, отступила к порогу и легла в углу на матерчатом половичке. На черной шерсти засверкали капли, запахло псиной.

Охотник и поднявшийся с табуретки гость секунду пристально смотрели друг на друга. У Виталия Макаровича дрогнули в улыбке губы; широко распахнув объятия, он двинулся к не успевшему даже шапку снять Карнакову.

– Ваня, родной! – радостно воскликнул он. – Сколько лет... Вот и встретились! – Обернувшись к прислонившейся к печке хозяйке, мимоходом бросил: – Мы воевали вместе!

– Как ты меня разыскал? – стараясь придать голосу радость, удивлялся Иван Сергеевич, по имени-отчеству он не называл «фронтового товарища».

– Дайте Ивану Сергеевичу хоть раздеться-то, Виталий Макарович, – подала голос хозяйка.

– Постарел, комбат, – с улыбкой говорил гость, принимая заиндевелое ружье, патронташ.

– Ты тоже не мальчик, лейтенант, – отвечал Иван Сергеевич. – Голова-то седая?

– У меня волосы светлые, не видно.

– Заяц в сенях на лавке, – кинул охотник хозяйке. – А лисицу-сестрицу упустил!

Так январским днем, после почти пятнадцатилетнего перерыва, встретились в поселке Новины Ростислав Евгеньевич Карнаков, ныне Иван Сергеевич Грибов, с Леонидом Яковлевичем Супроновичем, который теперь звался Ельцовым Виталием Макаровичем. Если бы хозяйка была чуть-чуть повнимательнее, то она заметила бы, что эта встреча не обрадовала ее постояльца. Губы его произносили привет-

ливые слова, а глаза были отрешенные, холодные. Скоро на столе появились водка, закуска, тушеная зайчатина с картошкой, «фронтовые друзья» чокались, вспоминали войну, погибших товарищей, налили в зеленый стаканчик и хозяйке, Евдокии Федоровне Никитиной. Черная лайка, положив острую морду на скрещенные лапы, задумчиво смотрела на людей, иногда хвост ее шевелился. Кошка, вскочившая на печь, сидела на краю и делала вид, что собака ее ничуть не интересуется. Выдавали тревогу лишь напряженно вытянутый хвост и встопорщившаяся на спине шерсть.

– Выпьем за то, что мы живы! – открывая вторую бутылку, провозгласил гость.

– А кому она нужна-то, такая жизнь? – неожиданно вырвалось у Карнакова.

Хозяйка жарко натопила в горнице, постелила постель гостю. Проговорили почти до утра. Автобус уходил в Череповец в одиннадцать дня, с ним собирался Ельцов отчалить. Он рассказал бывшему шефу, что вместе с немецкими частями отступал до самого Берлина, был у американцев, из лагеря для перемещенных лиц вызволил его и Матвея Лисицына некто иной, как сын Карнакова Бруно Бохов: он уже тогда, сразу после войны, был у американского командования в чести. С Матвеем их направили в разведшколу. Жили под Мюнхеном, потом в Бонне и, наконец, в Западном Берлине. Матвея Лисицына первым переправили в СССР, но он как в воду канул – подозревают, что добровольно сдался в КГБ, по-

тому что переход границы прошел чисто. Лисицын и раньше-то не внушал особенного доверия Леониду: трусоват был и не очень умный. Пока сила была у немцев, суетился, делал вид, что готов землю грызть от усердия, а как дела на фронте стали аховые, так и скис, присмирел, стал перед односельчанами заискивать. Впрочем, вряд ли он сдался властям, – на его совести не один расстрелянный и повешенный, – скорее всего, затаился где-нибудь в медвежьем углу. Ему, Супроновичу, поручено постараться разыскать его и напомнить про обязательства или хотя бы выяснить, что с ним. Адрес Ростислава Евгеньевича дал Леониду лично Бруно, велел передать пакет, деньги и на словах сообщить, что Карнакова помнят, верят ему и надеются на его помощь.

– Уже был человек оттуда, – проговорил Ростислав Евгеньевич.

– Этого подлюгу Лисицу собственными руками бы задавил! – заметил Леонид. – Хочет быть хитрее всех! Хапнул денег – и в кусты! Наверняка прячется где-нибудь в лесу под Андреевкой. Он же дурак, обязательно к дому, к женке потянется...

– Был я там, – сообщил Карнаков. – Про Лисицына ничего не слышал, а твоих там нет.

– Я о них и не думаю, – усмехнулся Леонид. – И смолodu-то не было любви к жене... Как там поживает моя зазноба Люба Добычина?

– Прости, брат, не поинтересовался, – хмыкнул на своем

диване Карнаков.

– Ух была горячая бабенка! – мечтательно произнес Супронович. – Огонь! Годы бегут, наверное, Лида уже взрослая. Ей должно быть лет шестнадцать-семнадцать...

– Что про отца-то не спросишь? – помолчав, сказал Карнаков.

– Знаю, проклял он меня.

– Как же у тебя рука поднялась обчистить родного отца? – упрекнул Ростислав Евгеньевич. – Да еще и на огоньке его, бедолагу, поджаривали!

– Старый пень не мог взять в толк, что, когда немцы уйдут, все равно он золотишком не воспользуется. Не пропадать же добру! А он уперся, как бык: умру – не отдам... Как та самая собака на сене. Я не раз говорил: мол, поделимся, батя... Так вы его знаете – руками и зубами держится за свое... Ну посудите, Ростислав Евгеньевич, как бы он смог распорядиться своим богатством, если бы даже не нашли его золото?

– Говорят, в тайнике и бриллианты были?

– Были, да сплыли... – помрачнел Леонид.

Ему не хотелось рассказывать, что отцовское золото и драгоценности не пошли впрок: что захватил с собой при отступлении, американцы сразу отобрали, а ту часть, что надежно спрятал в бору, у озера Утинога, тоже теперь не надеется получить. Матвей Лисицын знал про тайник. Там и его добро было схоронено. Если он добрался до него, то вряд ли доля Леонида осталась нетронутой. Будь он, Супронович,

на его месте – тоже ничего бы другому не оставил. Ему сразу стало не по себе, когда узнал в разведшколе, что Лисицына посылают с заданием в СССР. Леонид и сам согласился границу перейти лишь потому, что надеялся спрятанное золотишко получить. Если все-таки Матвей забрал и его долю, под землей найдет гада и задушит своими руками. Он обещал рослой немке Маргарите из Бонна помочь открыть парфюмерный магазинчик – ее голубую мечту! Маргарите по наследству достался небольшой каменный дом неподалеку от старинного Романского собора, в нижнем этаже дома деловая Маргарита задумала открыть свой магазинчик. Муж ее, майор-артиллерист, погиб под Курском, взрослый сын живет отдельно. Если Супронович вернется в Западную Германию целым и невредимым, да еще с золотом, то они поженятся, он поступит в полицию. Выкручивать руки и орудовать дубинкой он еще не разучился, а вот каждый день рисковать своей шкурой на родине, ставшей ему злой мачехой, больше его никто не заставит. У шпиона еще есть шанс остаться в живых, если его схватят и он раскается, а у Леонида Супроновича и этого жалкого шанса нет: он – предатель и палач, как называют в русских газетах бывших карателей и полицаев. Если бы не спрятанные награбленные драгоценности, он ни за что бы не согласился снова сюда вернуться. А тут еще из головы не шел Матвей Лисицын... Захапает спрятанное добро – и с концами! Нет, этого Леонид не мог допустить. Будь что будет, а Лисицына, если он забрал клад,

и под землей найдет...

Документы у Супроновича отлично сработаны, там это умеют делать, внешность тоже изменилась, даже Карнаков не сразу его узнал. Леонид стал грузнее, лицо округлилось, появился второй подбородок. Маргарита сама любила поесть и его откармливала разными вкусными вещами...

– Озлобил ты Якова Ильича, – продолжал Ростислав Евгеньевич. – Александра говорила, что от злости его и удар хватил. Лежит один наверху и по-гусиному шипит на всех, кто к нему подходит, – плохо у него с речью стало.

– Я же добром просил: мол, отдай золото, – проговорил Леонид. – Так куда там! Он готов был и на тот свет его с собой прихватить! Руку даю на отсечение, помирать бы стал, а все одно никому не сказал, где тайник. Уж я-то как-нибудь знаю своего папашу!

– Бог вам судья, – заметил Карнаков.

– Как сын-то ваш, Игорь, поживает? – вдруг задал Леонид вопрос, заставивший Карнакова сразу насторожиться.

– Я не знаю, где он, – после паузы ответил он.

– Бруно Бохов велел передать вам для Игоря карманный магнитофон, – продолжал Леонид. – На Западе они сейчас в моде, а тут в новинку. Чего придумали! Таскай себе музыку в кармане! К нему есть маленький микрофон, который можно к галстуку приколоть, – записывай, что люди рядом говорят, никто и не догадается. Полезная штучка! И недешево стоит.

– Я Игоря не видел с сорок третьего, – сказал Ростислав

Евгеньевич. – Его воспитывала Советская власть, наверное, комсомолец.

– Чудно получается, Ростислав Евгеньевич! – рассмеялся Лсонид. – Родной отец не знает, где его отрок, а там знают.... Мне ведь дали его московский адресок. На тот случай, если с вами не доведется встретиться... Выходит, там на него рассчитывают?

Поначалу и Карнаков полагал, что сын его станет разведчиком, но с годами все больше склонялся к тому, что не стоит Игоря вовлекать в эту опасную игру с огнем. Пусть живет как знает. Но, видно, не бывать этому... Пожалуй, Игорь сейчас представляет для них большую ценность, чем он сам, Карнаков...

Будто отвечая на его мысли, Супронович проговорил:

– Нечего вам тут сидеть, Ростислав Евгеньевич. Мне поручено передать вам, чтобы перебирались в Череповец, а потом, может, и в город покрупнее, где большая промышленность, строительство новых заводов, фабрик... Нужно вербовать людей, денег для этого не жалейте. И любая информация нужна. Кстати, вы выписываете местные газеты? Необходимо тщательно отбирать материалы, в которых говорится о перспективах развития промышленности, транспорта, шоссейных дорог, приводятся разные сроки, цифры... Все это там представляет большой интерес.

– Легко сказать – перебирайся! – усмехнулся Карнаков. – Меня ведь тоже, Леня, ищут.

– Что же так до старости и думаете грибки-ягоды принимать от населения? – насмешливо спросил Леонид. – А за кордон сообщать о годовых урожаях даров природы?

Раньше Супронович не позволял себе такого тона по отношению к своему шефу. То было раньше, а теперь шефы у Леонида другие. Судя по всему, Ростислав Евгеньевич сам попал в подчинение к бывшему своему холоу!

– В Череповец еще можно попытаться, – примирительно начал он. – Там находится наша главная база. Директор заготконторы ездит сюда ко мне охотиться, как-то после рюмки то ли в шутку, то ли всерьез предложил идти к нему за-мом.

– Воспользуйтесь, – заметил Леонид. – Здесь от вас толку мало.

И снова ухо Ростислава Евгеньевича резанул начальственный тон Супроновича.

– Ты надолго сюда? – подавив досаду, спросил он.

– Обтяпаю одно небольшое дельце – и домой... – усмехнулся Леонид.

– Домой? – иронически посмотрел на него Карнаков.

– Здесь у меня земля под ногами горит, – признался Супронович. – Хотя я и раздобрел на мясных харчах своей немки в Бонне, все одно могут узнать... Дом и родина для меня сейчас там, где кормят, деньги платят и смертью не грозят. Да и для вас, пожалуй, тоже.

– Чего-то не зовут меня туда... домой, – заметил Карна-

ков.

– Туда надо не с пустыми руками заявиться, Ростислав Евгеньевич, – засмеялся Леонид. – В Западной Германии много окопалось нашего брата, да цена-то тем, кто не нужен им, – копейка! Знаю я таких, которые давно уже с хлеба на квас перебиваются... наших хозяев сейчас интересуют не бывшие полицаи и каратели, а молодые люди, которых можно в СССР завербовать. От них-то, наверное, больше толку... Помните, как мы в Андреевке действовали? Ракеты в воздух пускали из ракетниц, вредили как могли, а теперь другая война – подавай нашим боссам ученых, военных, инженеров, молодежи подбрасывай литературку антисоветскую, можно и религиозную... Короче, идет охота за душами! Как этот... ну, который с дьяволом связался?

– Ты имеешь в виду Фауста?

– Книжонок я вам тоже привез, – будто не слыша Карнакова, сказал Супронович.

– Ради этого и пожаловал? – усмехнулся Карнаков.

– У меня тут свой интерес, – туманно ответил Супронович.

– Награбленное у населения осталось? – догадался Карнаков.

– Конфискованное у врагов «нового порядка», – насмешливо поправил Леонид. – Так нам говорили бывшие хозяева... А вы разве не поживились?

– Грабежом никогда не занимался, – хмуро буркнул тот.

– Вы ведь идейный враг Советской власти, – язвительно заметил Супронович.

– У меня к тебе просьба, Леонид, – другим, просительным тоном произнес Карнаков. – Не надо трогать Игоря. Ну за-вербуете его – опыта никакого нет, засыплется и пропадет ни за грош. Не думаю, чтобы от него была какая-то польза западной разведке.

– Это не нам с тобой решать, – ответил Леонид. – Твой другой сынок, Бруно, позаботится о своем единокровном братце...

– Гельмут жив?

– Летает пилотом гражданской авиации «Интерфлюп». Гельмут, побывав в русском плену, отошел от идей национал-социализма. Живет в Восточном Берлине и помогает строить социалистическую Германию. Даже в СЕПГ вступил.

– Как видишь, наши дети не спрашивают нас, как им жить и какому богу молиться!

– Я думаю, Бруно образумит непутевого братца, – сказал Леонид.

– Не верю я, что можно что-либо изменить, – вдруг горячо заговорил Ростислав Евгеньевич. – Думали, Гитлер сотрет Советскую власть с лица земли, а оно вон как повернулось: железный фюрер рассыпался в прах! Германия раскололась, в Восточной заправляют коммунисты, пол-Европы стало социалистической... А мы тут, превратившись в мышей-гры-

зунов, шуршим, дырки в мешках прогрызаем...

– Никак выходите из игры, Ростислав Евгеньевич? – помолчав, задал вопрос Леонид.

– Я не о себе, Леня, – ответил Карнаков. – Моя песенка спета. Лямку я свою тяну, нет у меня выбора, как, впрочем, и у тебя. Не хочется затягивать в это болото Игоря... Раньше я считал себя борцом – освободителем России от большевистской заразы. Война на многое открыла мне глаза. Теперь я не борец-освободитель, а обыкновенный шпион. И служу не идее, а, как красиво пишут в фельетонах, золотому тельцу! А на что мне деньги, Леня? Нам ведь нельзя отличаться от масс; а массы в России живут скромно, дворцами да яхтами не владеют.

– Вы можете уехать на Запад, – вставил Леонид. – У вас на счете...

– Какой счет? – взорвался Карнаков. – Все, что абвер мне заплатил, лопнуло как мыльный пузырь! Нет у меня в Берлине никакого счета!

– Меня уполномочили сообщить вам, что деньги в долларах и западных марках поступают на ваш счет в Западном Берлине, – солидно заявил Супронович. – И ваше звание подполковника сохранилось. Правда, хозяин переменялся, но нами командует ваш сын, Бруно Бохов. Я не знаю, в каком он звании, – ходит в гражданской одежде, но человек он влиятельный. И думаю, если вы захотите, сумеет переправить вас на Запад.

– Кому я там нужен, старик-пенсионер?

– Не смотрите так мрачно на жизнь, – покровительственно сказал Леонид.

– Мне в этой жизни и вспомнить-то нечего, – вздохнул Карнаков. – Вот до революции я жил! И какие были перспективы! А потом... потом была не жизнь, а прозябание! Думал, при немцах свободно вздохну, но и тут просчитался: немцы свою выгоду блюли, народ русский для них – быдло, рабы, а такие, как мы с тобой, нужны были им, чтобы каштаны таскать из огня!

– Вон как вы запели, Ростислав Евгеньевич! – упрекнул Супронович. – А помните, когда меня уговаривали немцам помогать, что вы толковали? Мол, единственная наша надежда! Спасители России!

– Дурак был, – признался Карнаков. – Хватался, как утопающий за соломинку.

– Назад нам дороги нет, – грубо заявил Леонид. – И нечего слезы лить по несбывшемуся. Советская власть никогда не простит нам того, что мы с немцами «наработали»! И слава богу, что мы еще кому-то нужны! Начнись война, я снова пошел бы служить немцам, англичанам, американцам, да хоть папуасам, лишь бы душить коммунистов! Мне нравится, как живут на Западе: кто смел да умен, тот всегда и там в жизни пробьется, достигнет всего, а дерьмо, так оно везде поверху плавает... Там можно всю развернуться! Умешь деньги делать – делай! И никто тебе рогатки в колеса вставлять не

будет. Чем больше у тебя монет, тем больше тебе и уважения! А здесь живи и не вылезай вперед, не то живо кнута схлопочешь! Была нищей Россия, видать, такой и останется. Она теперь для таких, как Митька Абросимов да Ванька Кузнецов. И для их проклятых пащенков!

– Старым я становлюсь, Леня, – помолчав, вымолвил Карнаков. – Уже ни во что не верю.

– Я верю лишь в самого себя, – сказал Супронович.

– У меня и этого нет, – вздохнул Ростислав Евгеньевич и, отвернувшись к стене, натянул одеяло на голову.

### 3

Леонид Супронович с вещмешком за плечами стоял на подножке пассажирского и настороженно вглядывался в голубоватый сумрак. Снег густо облепил деревья, навис на проводах, вспучивался облизанными метелью сугробами в низинах. Холодный ветер жег лицо, забирался в рукава полушубка, хорошо, что у Карнакова сменил унты на мягкие валенки: они легче и незаметнее. Унты на севере носят. Уже февраль, а весны не чувствуется. Поезд прогремел через мост, впереди разинул красный рот семафор, лес стал отступать. Мазнул по кустам, заставив заискриться снег, свет автомобильных фар. Леонид знал, что это дорога на Кленово, где раньше был рабочий поселок. Послышался истошный визг тормозов, пассажирский дернулся, лязгнув буферами,

и стал замедлять ход. Больше не мешкая, Супронович, откинувшись назад, привычно спрыгнул в снег под откос. Мягко приземлился и, проехав по насту, провалился в сугроб.

Через час он тихонько постучался в окно Любы Добычиной. Послышались неторопливые шаги в сенях, дверь с жалобным скрипом отворилась. В черном проеме стояла Люба, недоуменно вглядываясь в крупного широкоплечего мужчину в полушубке с поднятым воротником.

– Господи, никак с того света! – осевшим голосом воскликнула она и схватилась за косяк.

– Тише, Люба! – озираясь, сказал он. – Ты одна? Пустишь в избу-то?

Она отступила от дверей, в потемках закрыла на щеколду дверь за ним.

– Лидка на танцульках, – проговорила она, входя в комнату. – После двенадцати явится.

– Сколько же ей?

– А вот и считай: сейчас тысяча девятьсот пятьдесят шестой, а она родилась в сорок первом. Правда, ты на родную дочку-то тогда и не взглянул...

– А Октябрина? – спросил он, вешая полушубок на вешалку.

– Давно замужем, живет в Калуге.

– Она тоже моя... дочь?

– Коленькина, – помрачнела Люба и украдкой взглянула на портрет своего мужа, повешенный рядом с зеркалом. Она

располнела, лицо округлилось, в волосах поблескивала седина, но былую статью сохранила. – И не побоялся сюда зайти?

– А чего мне бояться? – беспечно ответил он. – Свое я отсидел в колонии, за хорошую работу освободили досрочно... – И зорко взглянул на нее: поверила ли?

– Я думала, таких, как ты...

– К стенке ставят, да? – криво усмехнулся он. – Если всех расстреливать, кто же работать на лесоповале будет? Дороги в тайге строить? Ну, понятно, я не все рассказал на суде...

– Как же ты, Леня, людям-то на глаза покажешься? – с сомнением взглянула Люба на него.

– Пришел вот тебя проведать... – ответил он. – Здесь я не задержусь. Лучше расскажи, что у вас тут делается. Не появлялся в этих краях Матвей Лисицын?

– Изменился ты, Ленечка, шире стал, постарел. И светлые кудри вроде бы поредели...

– Слыхала что про Лисицына? – настойчиво переспросил он.

– Ты бы про батьку сперва спросил, – усмехнулась Люба. – Люди толкуют, что ты его в сорок третьем ограбил. Как же это так, родного отца?

– Люди наговорят... – поморщился он и вдруг сказал в рифму: – Люди-людишки, мало я выпускал им кишки!

– Да уж про тебя никто тут доброго слова не скажет!

– Тебя-то ведь я, Люба, не обижал?

– Не обижал, – опять как-то странно взглянула она на него полинявшими глазами. – Ты мне всю жизнь отравил, Леня.

– Я любил тебя, – сказал он, барабаня пальцами по оштукатуренному боку русской печи.

– Ты многих любил... Чего же не спросишь про Дуньку Веревкину? Твою полюбовницу? Побаловался и подсунул коменданту Бергеру? Уехала она отсюда в сорок пятом: стыдно было людям в глаза глядеть...

– Чего ворошить былое, Люба? – мягко урезонил он женщину. – Думаешь, у меня потом... жизнь была сладкой? Я тебя спрашивал про Лисицына.

Люба рассказала, что из Климова в январе приезжали на машине военные с автоматами и пистолетами, допрашивали Аглаю Лисицыну про ее мужа-душегуба, вроде им стало известно, что он скрывается где-то в наших лесах. Аглая клялась-божилась, что с войны мужа своего не видела, мол, давным-давно похоронила его в своем вдовьем сердце. Военные из Климова на лыжах ушли в лес. Потом еще несколько раз приезжал в Андреевку какой-то начальник, заходил к Аглае, разговаривал и с другими, но, видно, так ничего и не добились.

– А как ты думаешь, Аглая виделась с мужем? – угрюмо взглянул на женщину помрачневший Леонид.

– Говорят же, нет дыма без огня, – ответила Люба. – Я в чужие дела не суюсь... У меня картошка с мясом. Подогреть? Да и самовар поставлю. Пьяный Тимаш болтал, что

видел, как Аглая таскала в лес еду в кастрюле.

– Ну и живучий старик! – удивился Супронович. – А говорят, водка людей губит... Кстати, Любаша, у тебя нет чего-нибудь выпить? Такая встреча...

Женщина молча достала из буфета бутылку розового портвейна, две рюмки. Прикончив бутылку, Леонид было облапил Любу, хотел поцеловать, но она резко высвободилась.

– Укороти руки-то! Чужие мы, Леня. Лидушка и то не связывает с тобой, я ей свою фамилию, а отчество Коли Михалева в метрику записала, царствие ему небесное! От твоей поганой руки смерть принял!..

– Ты никак плачешь по нем?

– Не свались ты на мою бедную голову, может, жила бы с Колюней душа в душу.

– Слизняк он, а не мужик! – фыркнул Леонид.

– Шел бы ты, – взглянув на ходики, заметила она. – Лида скоро заявится.

– Вот и погляжу на родную дочь, – усмехнулся он.

– Отчаянный ты, – покачала она головой. – Не боишься, что на тебя укажу участковому?

– Не продашь ты меня, Любаша, – ответил он. – Какой я ни есть, а того, что было между нами, просто так за ворота не выкинешь! Вспомни довоенные темные ночи! Хочешь – верь, хочешь – нет, а лучше бабы, чем ты, Люба, у меня и за границей не было.

– Пой, пташечка, пой... – усмехнулась она, но видно было, что его слова ей приятны. – Много у тебя таких, как я, было...

– Даже ты мне не веришь!

– Не вороши былое, Леня, – вздохнула она. – Все быльем поросло. Мужа моего ты убил, а сам, думала, на веки сгниул...

– Не хорони меня, Люба, я – живучий, – рассмеялся он. – Война кончилась, а жизнь продолжается.

– Какая у тебя жизнь? – сожалеючи посмотрела она на него. – Серый волк в лесу и то лучше тебя живет.

– Не говори о том, чего не разумеешь, – нахмурился он. – Я на свою жизнь не жалею – знал, на что шел.

– Тебе надо уходить! – спохватилась Люба. – Чего я дочери скажу? Чужой мужчина в доме в такое время.

– Где участковый-то живет? – спросил он.

– Как базу ликвидировали, так участковый перебрался на жительство в Шлемово, он теперь один на три поселка.

– Это хорошо, – задумчиво заметил Супронович.

– Многих карателей уже поймали, – глядя, как он одевается, говорила Люба. – Сколько же вы, душегубы, зла людям принесли! – В ее голосе зазвенели гневные нотки. – Гнать бы тебя надо в три шеи, а я тут еще с тобой разговариваю! Может, свое ты и отсидел, а от людей не будет тебе, Леня, прощения! Никогда не будет! Помнишь, я тебе толковала, мол, не злодействуй, будь помягче к односельчанам, так ты и рта

мне не давал раскрыть. Хозяином себя чувствовал, думал, всегда так будет...

– Никак учить меня взялась? – Он с трудом сдерживал злость. – Вон ты какая, оказывается! А раньше, когда я был в силе, была тише воды, ниже травы!

– Говорила я тебе, да ты все забыл... – вздохнула она. Гнев ее прошел, глаза стали отсутствующие, видно, вспомнила былое...

– Прощай, Люба, – сказал он. – Больше вряд ли свидимся. Про меня никому ни слова.

– Хвастать-то нечем, Леня, – печально ответила она.

Даже не поднялась с табуретки, не проводила. Сидела по-нури в плечи у стола, на котором пофыркивал медный самовар, и невидящими глазами смотрела прямо перед собой. Лучше бы она его и не видела: что-то всколыхнулось в ней, будто тисками стиснуло сердце, на глаза навернулись непрощенные слезы. Кудрявый Леонид – это ее молодость. Разве виновата она, что бог послал ей недотепу мужа? Не любила она Николая Михалева. Думала, с годами стерпится, но не стерпелось. Молчаливый, с угрюмым взглядом муж раздражал ее. Нет, она не мучилась раскаянием тогда, когда сильный, молодой, кудрявый Леонид приходил к ней, а Николая прогонял в холодную баню... А что это за мужик, который не может постоять за свою честь!..

Стукнула в сенях дверь, послышался визг снега под тяжелыми шагами, а немного погода в избу влетела порозовев-

шая с мороза ясноглазая Лида. Пуховый платок заискрился на ее голове, полы длинного пальто с меховым воротником в снегу – кувыркалась с кем-то, разбойница! Невысокая, голу-боглазая, с вьющимися светло-русыми волосами, она нрави-лась парням. На танцах от них отбою нет, а вот нравится ли ей кто, мать не знала. Летом ее с танцев частенько провожал домой Павел Абросимов, он приезжал на каникулы. Девчон-ке пятнадцать, а парням уже головы кружит...

«А я сама-то? – вспомнила Люба, – В пятнадцать на ве-черинках с парнями целовалась, а в шестнадцать уже замуж выскочила! Видно, вся порода наша – из молодых, да ран-ние...»

– Мам, а что это за дядька у нас был? Я его встретила у ка-литки. Выгаращил на меня глазищи и ухмыляется. Пьяный, да?

– С поезда приперся командировочный, спрашивал пере-ночевать, да я не пустила. Я ведь не знаю, что он за человек, – спокойно объяснила Люба.

– Я уж на крыльцо поднялась, а он все стоит у калитки и глазеет на меня, – щебетала, раздеваясь, Лида.

– Пригожа ты девка, хоть и росточком невелика, – сказала мать. – Вот и смотрят на тебя парни и мужики.

– Он как-то по-другому смотрел, – задумчиво разгляды-вая себя в настенное зеркало в деревянной раме, проговори-ла девушка. – Ну чего во мне красивого? Щеки круглые, ру-мяные, курносый нос, брови белые, надо подкрашивать, раз-

ве что глаза голубые да волосы густые, вьющиеся... – Она повернулась к матери: – У тебя волосы прямые, покойный тятенька смолоду был лысый, в кого же это я такая кудрявая уродилась?

– Садись чай пить, – изменившимся голосом сказала мать.

– Меня нынче больше всех девчонок в клубе приглашал на танцы Иван Широков, – щебетала Лида. – Смешной такой, ходит в клуб в бушлате, все про Балтийское море рассказывал. Он, оказывается, герой! Бросился в ледяную воду спасать матроса, упавшего в шторм за борт. Спас, а сам сильно простудился, вот и демобилизовали.

– Степенный парень, – отозвалась мать. – И хозяйственный – как вернулся домой, так все время стучит у себя во дворе: крышу перекрыл, крыльцо новое поставил, курятник... И на стеклозаводе его хвалят, говорят, карточка висит на Доске почета. Лучший электрик.

– Да ну его, – отмахнулась девушка. – Курит все время и ни разу не улыбнется. Не люблю я хмурых.

– Не хмурый он, а серьезный, – вступилась за Ивана Люба. – Веселые-то все больше к компании и водке тянутся, что толку от таких в семье? А Иван сам не пьет и дружбу с пьяницами не водит.

– Мам, а куда же он пойдет? – вдруг спросила дочь.

– Кто? – не поняла та.

– Приезжий дядечка. Где он будет ночевать?

– Нам-то что за дело. – Мать резко поднялась из-за стола и

отошла к плите, на которой грелась вода для мытья посуды.

\* \* \*

Неделю спустя после визита Леонида Супроновича в Андреевке похоронили двоих: старого Супроновича и скрывавшегося в лесу бывшего старшего полицая Матвея Лисицына. Яков Ильич почти год не поднимался с кровати, скончался от повторного кровоизлияния в мозг. Эта смерть мало кого удивила: парализованный Супронович, как говорится, давно дышал на ладан, всех поразила вторая смерть, вернее, жестокое убийство бывшего полицая. У Лисицына были прострелены обе руки, нога, грудь и голова. Приехавшим из Климова военным жена убитого Аглая рассказала, что ночью заявился к ней Леонид Супронович, велел вести в лес к мужу, который последний месяц скрывался в партизанской землянке на краю болота. Она пробовала отрицать, мол, не знает, где Матвей, но бандит пригрозил ей ножом, и они этой же ночью вдвоем отправились в лес. У Матвея всегда была при себе граната, но опытный злодей заставил ее, Аглаю, вызвать мужа из землянки. Когда он вышел, Леонид выскочил из-за сосны и сшиб его на снег, отобрал гранату, пистолет, нож, потом снова затащил в землянку, а ей велел дожидаться на опушке. Услышав выстрелы и крики мужа, она опрометью бросилась бежать. Наверное, бандиту было не до нее, он ее не преследовал. А может, потом и спохватился, да ее уже

и след простыл. На другой день она все рассказала участковому. Взяла санки и вместе с ним отправилась в лес. Супроновича, конечно, не нашли, а убитого мужа она привезла в Андреевку. Еще там, а лесу, слышала, как Ленька в землянке орал: «Куда заховал, паскуда, добро?! Говори, не то душу по частям выну!»

Военные привезли на машине с собой овчарку, но протоптанная в снегу тропинка из леса выводила на большак, по нему ездили в Климово стеклозаводские грузовики. Тут собака и потеряла след. Спрашивали шоферов, дежурного по станции, но никто похожего на Леонида Супроновича человека не видел и не подвозил. Скорее всего, он той же ночью потихоньку сел на товарняк, проходивший через Андреевку, и, как говорится, ищи ветра в поле.

На поминках Якова Ильича захмелевший дед Тимаш, сколотивший для покойников оба гроба, толковал односельчанам:

– Видели, какой страшный лик был у Якова Ильича? Усю физиономию перекосило, глаза на лбу, а сам синий. Истинный крест, прохвост Ленька отправил батьку на тот свет! Вдова-то говорила, что слышала ночью какой-то шум, а утром входная дверь оказалась отпертой... Сукин сын Ленька тайком пробрался к батьке наверх, а тот как увидел блудного сынка, так от расстройства богу душеньку и отдал. Он мне еще ранее толковал, что проклял убийца. Сынок-то в войну со своими дружками-бандитами обобрал родного

бабку. Вот и помер хворый Яков Ильич от одного богомерзкого вида Ленки. Это от ненависти лик-то ему перекосило... Где ни пройдет бывший бургомистр, одни покойники остаются. Ишо Аглае повезло, что успела убежать от бандюги, он и ее бы приговорил, истинный крест!

Если Якова Ильича похоронили по всем правилам со священником, отпеванием, поминками, то Матвея Лисицына председатель поселкового Совета Михаил Петрович Корнилов не велел хоронить на общем кладбище, как врага народа, Аглая похоронила его на пустыре за околицей.

\* \* \*

После февральских морозов пришла оттепель. Деревья сбросили с ветвей белые комки, испещрив наст маленькими кратерами. Ночами с шумом и грохотом, пугая ребятишек, съезжали с крыш слежавшиеся снежные глыбы. В полдень начинало повсюду капать, а к вечеру длинные заостренные сосульки вытягивались чуть ли не до самой земли. Ребятишки весело скользили с ледяной горки у водонапорной башни на досках, бегали к железнодорожному мосту на Лысуху, где можно было покататься на коньках. Полная луна высеребрила иголки на могучих соснах, что стояли напротив дома Абросимовых. На каменных округлых боках водонапорной башни слюдянисто поблескивала наледь. Протяжный паровозный гудок проходящего через Андреевку без остановки

товарняка далеко разносился окрест.

Тихо в этот час в поселке, не видно в окнах огней, только из освещенного клуба доносится негромкая музыка. Иногда распахивается широкая дверь и на улицу шумно выходят простоволосые парни, чиркают спичками, закуривают.

Сотворив на ночь молитву и повязав седую голову белым платком, засыпает на печи Ефимья Андреевна; задрав растрепанную бороду в потолок, раскатисто храпит дед Тимаш. Добредя с поминок Супроновича до своего дома, он, не раздеваясь, бухнулся на кровать. Не спит, дожидаясь дочь с танцев, Люба Добычина. В голову лезут горькие мысли о прошлом, вздыхая, снова и снова вспоминает свои бурные встречи с кудрявым Леней Супроновичем... На кухне одна-одинешенька за накрытым столом сидит перед начатой бутылкой водки и чашкой с кислой капустой Аглая Лисицына и, невидяще глядя на стену, что-то шепчет бледными губами. В глазах ни слезинки. А в больнице акушерка Анфиса принимает у обессиленной роженицы первенца. Вертит в руках красное тельце, шлепает по сморщенному заду, и в белой натопленной комнате со стеклянными шкафами раздается пронзительный крик.

В Андреевке родился человек.

# Глава шестая

## 1

Пока человек жив-здоров и на людях, он как-то не задумывается над такими вопросами: что такое жизнь? Каково твоё предназначение на земле? Чаще всего такие мысли посещают нас, когда мы больны и одиноки. Лежит человек на койке, смотрит в белый потолок и задает себе такие вопросы, на которые не хватает ума найти правильные ответы. Да что себя винить, если великие философы не смогли дать единый вразумительный ответ: зачем человек живет на земле? Стоит ли родиться, чтобы потом умереть? Рожает тебя женщина в муках, живешь, влюбляешься, страдаешь, работаешь, веселишься, бегаешь, а потом к старости ворошишь прожитую жизнь и удивляешься: так ли, как надо, ты ее прожил? Может, лучше бы тебе и не родиться? Правда, никто нас не спрашивает об этом: родился человек – значит, живи, радуйся небу, солнцу, делай на совесть свое дело, придет пора – женись, расти потомство... А если человек чувствует себя лишним, никому не нужным, даже самому себе, невольно напрашивается мысль: не надо было тебе родиться. Для чего ты существуешь? Какая от тебя польза людям? Зверь, птица, насекомое не задумываются над этими вечными пробле-

мами. Появившись на белый свет, они старательно делают все то, что заложила в них великая мать-природа: строят себе убежище от врагов, убивают меньших, чтобы насытиться, размножаются и незаметно умирают, дав жизнь подобным себе. У них все понятно, все предопределено заранее.

А у человека все не так. Он может остановиться и оглянуться назад, способен заглянуть и в будущее, может отказаться продолжить свой род и остаться бобылем, может быть в гуще жизни людей, а может и уйти от них, стать отшельником. Может строить и разрушать, жить в мире и воевать. Вон до чего додумался: изобрел атомную бомбу! Одна такая бомба может сотни тысяч людей погубить, а кто и выживет, так всю жизнь будет страдать от неизлечимых болезней. После Хиросимы и Нагасаки – об этом пишут в газетах – до сих пор рождаются неполноценные дети, а облучившиеся при взрыве атомной бомбы продолжают умирать...

Вот такие невеселые мысли приходили в голову Вадиму Казакову, лежащему на койке в больничной палате, В окно без занавески была видна черная ветка старой липы. Когда ветер раскачивал ее, ветка легонько царапала по стеклу. Проклятый полиартрит снова уложил его почти на месяц в больницу. Ударила боль в правую ногу и пошла гулять по всем суставам. В больницу его привезли на «скорой помощи». Боль в суставах быстро сняли уколами, которые делали через каждые два часа днем и ночью. Лечащий врач сказал, что на сердце приступ не отразился, но впредь нужно

беречься: все-таки у него, Вадима, был ревмокардит. А как беречься? Проклятый азиатский грипп уложил в постели в Ленинграде тысячи людей – об этом передавали по радио. Грипп еще ладно, страшны осложнения, которые он дает. Были и смертельные случаи. Недаром говорят: где тонко, там и рвется! Началось с обыкновенной простуды, на которую он и внимания не обратил, ходил в университет, вечером мчался на работу. Правда, Василиса Прекрасная уговаривала вызвать врача и полежать два-три дня дома, но он тогда только отмахнулся. И вот результат: восемнадцать дней в палате! Из них три дня лежал пластом, сдерживаясь, чтобы не закричать от боли в голени.

И это после того, как все у него устроилось самым наилучшим образом: перевелся из Великопольского пединститута на вечернее отделение университета имени Жданова, на журналистский факультет, стал внештатно сотрудничать в газетах. В университете он как-то на лекции показал свои стихи однокурснику Николаю Ушкову, тот прочел их, похвалил и сказал, что возьмет с собой на пару дней, а зачем – распространяться не стал. Через неделю пригласил его в редакцию, где уже второй год работал литсотрудником отдела писем. В его обязанности, оказалось, входило в потоке авторских заметок, присылаемых в газету, находить материалы, отмеченные «искрой божьей», как он выразился. В общем-то «искр божьих» из-за серого пепла, потоком идущего в редакцию, было почти незаметно.

Николай решительно провел его прямо в кабинет главного редактора, которого Вадим немного знал: тот изредка читал лекции по практике газетной работы на факультете. Редактор, довольно моложавый мужчина с вьющейся шевелюрой, встретил приветливо, сказал, что стихи напечатают в воскресном номере, и предложил Вадиму написать что-нибудь для газеты, например фельетон или очерк. Он обнаружил в стихах о стилигах и бездельниках «острый взгляд сатирика», как он выразился.

Тут как нельзя кстати Ушков ввернул, что неплохо бы дать начинающему автору хотя бы временное удостоверение. Редактор распорядился отпечатать на бланке, что Вадим Федорович Казаков является внештатным корреспондентом газеты. На первый же его фельетон, который тщательно выправил Коля Ушков, добровольно взявший шефство над Вадимом, пришли отклики от читателей. Надо сказать, Казаков затронул довольно популярную тему: хамство и чаевые в среде таксистов и швейцаров в ресторанах и кафе. Ушков вскоре написал обзор: «Отклики читателей на фельетон», привел выдержки из писем. Впервые в жизни увидев напечатанную газетным шрифтом свою фамилию над стихами и фельетоном, Вадим испытал довольно странное чувство: сильное беспокойство, что все это плохо, серо, и вместе с тем глубокую радость, что его фамилия прочитана тысячами ленинградцев.

Первые дни он ходил по городу с гордым видом, ему хо-

телось кричать: это мои стихи! Мой фельетон! Потом стало стыдно, он укорил себя за самодовольство, тем более что Николай вскоре охладил его пыл, заявив, что стихи и фельетон, конечно, получились, но особенного блеска еще нет, мол, вытянула злободневная тема...

В палате Вадим много читал, – книги вместе с едой приносила Василиса Степановна. Как-то на полчаса забежал озабоченный Николай Ушков, принес полосу с другим фельетоном Вадима – «Здравствуй, папа!». Это был фельетон о молодой распутной женщине, которая приводила домой мужчин, а малолетней дочери говорила, что это очередной «папа».

– Старик, это покрепче, чем о стилягах, – похвалил Николай. – Будут отклики. Кстати, редактору очень понравился фельетон, передавал привет...

Когда газета появилась в палате и больные оживленно стали обсуждать фельетон, Вадим не признался, что он автор, хотя ему было приятно слышать похвалы. Он и сам чувствовал, что фельетон удался. От нечего делать решил написать рассказ. Пришел на ум запомнившийся случай из партизанской жизни. В отряде был такой Степа Линьков, деревенский мужик, отличавшийся удивительной хозяйственностью. Воевал он неплохо, участвовал в диверсиях на железной дороге. Искренне сокрушался, что после того, как воинский эшелон полетит под откос, столько добра пропадает! Оборудование, провиант, оружие... Рискую жизнью, подползал к опро-

кинутым вагонам, за которыми укрывались стреляющие из автоматов немцы, хватал что под руку попадет. Несколько раз ему за это доставалось от старшего группы, но Степан был неисправим. В лагере он хвастался перед Павлом и Вадимом никелированным трофейным браунингом, который можно было спрятать в нагрудном кармане гимнастерки – и не заметишь, в меховом немецком ранце он хранил много бесполезных в партизанском быту вещей: серебряную фляжку с пробкой стаканчиком, фотоаппарат «Кодак» без пленки, музыкальную инкрустированную шкатулку красного дерева с лопнувшей пружиной, позолоченные ложки, сахарницу. Иногда он вынимал свое богатство, бережно расставлял на земле и протирал чистой фланелевой портянкой – это была, пожалуй, единственная нужная вещь в ранце! – и разглагольствовал перед мальчишками, как он после войны распорядится этими прекрасными вещами...

Степан и погиб из-за своего барахла. Каратели неожиданно напали на партизанский лагерь. Дмитрий Андреевич Абросимов был всегда готов к этому: по его команде началось организованное отступление к болоту. Степан Линьков уже на топи хватился, что оставил свой ранец в землянке. Недолго думая, бросился назад, ему удалось взять ранец, но на обратном пути его прошили очередью из автомата. Так и остался он лежать у черной коряги с прижатым к простреленной груди рыжим ранцем.

Позже Вадим подумал, что вещи, деньги, вообще соб-

ственность – все это не имеет никакой цены по сравнению с человеческой жизнью... Сколько разных людей жило до нас! Иные владели несметными богатствами, которые не снились и Аладдину с его волшебной лампой, но приходила смерть, уносила жизнь, а все оставалось. Никто еще не взял с собой на тот свет свое богатство.

Не погиб бы Линьков, если бы благоразумно отступил вместе со всеми. Вещи его погубили. Этот случай почему-то намертво врезался в память, и вот сейчас, в больничной палате, захотелось написать обо всем этом. Что тут главное – страсть к накопительству или тяга к прекрасному? Степан Линьков, перебирая на досуге свои вещи, говорил об их цене, мол, вернется домой и продаст фляжку и шкатулку...

Ни в квартире Кузнецова в Ленинграде, ни в доме Казакова в Великополе, ни у бабки Ефимьи Вадим не видел дорогих, ценных вещей, там были лишь самые необходимые в быту вещи. Ни мать, ни Ефимья Андреевна, ни Василиса Прекрасная не носили золотых украшений, тем более бриллиантов. Разве что хранили свои обручальные кольца. И у Вадима не было тяги к драгоценностям. Он бы никогда не смог отличить золотое кольцо от поддельного. Вот в оружии разбирался, мог легко отличить браунинг от кольта или вальтер от нагана. Если что он и считал в юношеские годы ценностью, так это боевое оружие. От него зависело все: жизнь, удача в диверсиях против фашистов, душевное спокойствие. И как трудно было сразу после войны расстаться с добытым

в бою парабеллумом!..

– Вадим, опять письмо пишешь? – вывел его из задумчивости глуховатый голос соседа по палате Всеволода Дынина.

– Курсовую, – буркнул Вадим, прикрывая рукой написанное. Он сидел на кровати, облокотившись локтем на белую тумбочку, которая и служила ему письменным столом.

– Сыграем в шахматы? – предложил Дынин.

Под мышкой у него шахматная доска с фигурками. Длинный, с продолговатым лицом и темными, вечно взерошенными на затылке волосами, Всеволод почему-то наводил тоску на Вадима. То ли голос у него такой унылый, то ли тупая неподвижность лица с пустоватыми желтоватыми глазами, но разговаривать с ним не хотелось. Дынин вечно был голоден, хотя ему в приемные дни приносили передачи. Еще у него была страсть – шахматы. Он мог играть часами, только обходы врачей да еда отрывали его от этого занятия. Играл неплохо – его обыгрывал лишь инженер из соседней палаты, где лежали язвенники. Дынин же страдал печенью. У него была противная привычка на дню раз сто любоваться на свой язык. Ему казалось, что он обложен.

– Я не умею, – отказался Вадим, недовольный, что ему помешали.

– В шахматы должны все уметь, – монотонно гудел над ухом Дынин. – Это древняя игра, лучше которой нет на свете. Ты знаешь, что родина шахматной игры Индия? А в России они появились в девятом веке... Царь Иоанн Грозный

любил играть в шахматы, даже умер за доской...

– Поищи другого партнера, – прервал его Вадим.

И Вадим, глядя в окно, вспомнил свою последнюю игру в шахматы в Харьковском военном госпитале. Там он и научился играть. Времени было достаточно, и игра скоро увлекла его. Вадим вообще был заводным, азартным человеком, он ходил с доской по палатам и предлагал сразиться с ним. В своей, палате он уже всех обыгрывал. Правда, там и не было сильных игроков. Наконец в их терапевтическом отделении остался у Вадима всего один достойный противник – майор Логинов. Его еще никто не победил. И случилось так, что на третий день почти непрерывной игры с утра до вечера Вадим неожиданно для себя поставил майору мат. Тот криво улыбнулся, мол, это случайность, но когда Вадим во второй раз обыграл, Логинов нахмурился и стал играть внимательнее. Вадим подряд сделал майору еще два мата. Он уже не мог скрывать своих чувств, открыто ликовал, снисходительно поглядывая на все более мрачнейшего майора. Когда в очередной раз загнал его короля в угол, Логинов вдруг смел здоровой рукой – левая у него была в гипсе – фигурки на пол.

Потом майор пришел к нему в палату извиняться, мол, нервишки расшатались, предложил еще сыграть, но Вадим отказался. С тех пор как отрезал, больше за шахматы не садился. И приставания Дынина его раздражали.

На утреннем обходе Вадим попросил лечащего врача, чтобы его выписали: больше валяться на койке не было мо-

чи. Чувствовал он себя сносно, правда, от малоподвижного образа жизни стал вялым, инертным. Получив больничный лист, запихав в сумку вещи, радостный Вадим ошалело выскочил на залитый солнцем больничный двор. Его оглушил воробьиный гомон, свежий холодный воздух распирает грудь, над головой плыли белые облака, с Невы доносились басыстые покрякиванья буксиров, где-то неподалеку грохотал, звенел на скорости трамвай. Навстречу ему двигалась легкая тележка с никелированными колесиками. Тележку толкал впереди себя молодой рослый санитар в голубой шапочке с завязками на затылке. Тележка катилась к моргу, и лежал на ней под смятой простыней покойник. Вадим отвернулся и, помахивая тощей сумкой, еще быстрее зашагал к литым чугунным воротам, видневшимся сквозь черные стволы старых деревьев.

## 2

– Старик, ты становишься популярным! – в университетском коридорчике в перерыве между лекциями сказал Николай Ушков. – Не хочешь завтра за город в одну интересную компанию? Просила привезти тебя сама Вика Савицкая!

– Как кот в мешке? – пошутил Вадим. Ему было приятно, что его персоной вдруг стали интересоваться незнакомые девушки. – А кто она такая?

– Знаешь, кто у нее папа? – многозначительно посмотрел

на него Ушков.

– Так кто меня приглашает – папа или Вика?

– К папе не так-то просто попасть! – рассмеялся Николай. – К нему на прием, старик, записываются.

– Савицкий, Савицкий... – наморщил лоб Вадим, но ему ничего эта фамилия не говорила.

– Начальник по кооперативным квартирам, – подсказал приятель.

– Квартирный вопрос меня не интересует, – заметил Вадим. – Да и денег на кооперативную квартиру мне в жизнь не собрать.

– Многие так рассуждали, а когда в Ленинграде организовали первые кооперативы, отбоя от желающих вступить не стало, – заметил Николай – То же и с машинами. Такие цены, а очереди на годы. Есть у людей деньги. Чем лежать им на сберкнижках да в чулках, стали пускать их в дело.

– Хорошо стали люди жить – вот и появились лишние деньги.

– Лишних денег не бывает! – хохотнул Ушков. – Просто появились люди, которые умеют их делать.

– Может, меня научишь? – усмехнулся и Вадим.

– Мы с тобой, старик, не того поля ягоды, – посерьезнел Николай. – Кто в основном покупает машины, вступает в кооперативы, строит дачи? Жулики, взяточники, спекулянты.

– А крупные ученые, известные артисты, писатели? – возразил Вадим. – Ну кто честным трудом много денег зарабо-

тывает?

– Есть, конечно, и такие, – согласился Николай. – Не об них речь. Понимаешь, старик, появилась у нас странная прослойка: умельцы делать деньги. Ты мотаёшь на ус, фельетонист, пригодится. Кстати, на даче у Вики Савицкой можно встретить таких типов.

– А что ты делаешь в этой компании? – насмешливо посмотрел на него Вадим.

– Я? – смешался Николай. – Ну наблюдаю, как говорится, тоже мотаю себе на ус... Я ведь все-таки журналист.

– Не темни, Коля, – подначил Вадим. – Небось сам в эту Вику втюрился?

– Слово-то какое выкопал – «втюрился»! – поморщился Николай. – Давай спорить? Увидишь ее – сразу влюбишься.

– Разве это так просто? – улыбнулся Вадим и с выражением продекламировал:

Пора мне стать невозмутимым:

Чужой души уж не смутить;

Но пусть не буду я любимым,

Лишь бы любить!

Он взглянул на приятеля:

– Байрон, «В день моего тридцатишестилетия».

– Ишь ты, шпарит наизусть! – покачал головой Николай.

– Я больше сочинять стихи не буду, – сказал Вадим.

– Пиши фельетоны – у тебя получается, – ответил прия-

тель. – Я думаю, после университета редактор тебя зачислит в штат.

Николай Ушков был среднего роста, на вид щуплый, однако Вадим видел его на университетской волейбольной площадке и подивился ширине его груди, узловатым мышцам на плечах и руках. Оказалось, Николай занимался в армии самбо и боксом. Белобрысый, с бледным лицом и холодными светлыми глазами, он производил впечатление спокойного, рассудительного человека, да таким он и был до тех пор, пока не затрагивали философских тем, – тут Николай преображался: глаза оживлялись, к выпуклым скулам приливал румянец, не повышая ровного спокойного голоса, начинал возражать, спорить и в конце концов полностью овладевал разговором. Он знал все философско-этические буржуазные течения, разбирал по косточкам экзистенциалистов – от Кьеркегора до Жана Поля Сартра. Любил поговорить о Фрейте, писателях Кафке, Камю, Марселе Прусте. И надо сказать, обладал в этих вопросах большой эрудицией. В «Вечерке» относились к нему с уважением, хотя и считали, что он несколько заумный, а в споры с ним старались не вступать: мол, все равно переспорит. Говорить на любые темы Николай мог часами, а толковать о философии – сутками. Вадим знал это и много почерпнул от него интересного...

В коридорный гомон ворвался пронзительный звонок, и студенты-вечерники потянулись в аудитории. Под потолком плавал сизый дым, он не спеша уходил в отворенную фор-

точку, за которой зеленела молодой травой лужайка с подстриженными кустами.

\* \* \*

Дача Савицких находилась в Комарове. Если пройти метров пятьдесят до обрыва, то сквозь густые заросли сосняка можно увидеть блеск Финского залива. Вика говорила, что в ясную солнечную погоду иногда, как в сказке, в голубоватой дали вдруг на воде возникает туманный остров с каменными строениями. Это Кронштадт. Часто были видны на горизонте белые корабли. Ближе к берегу они никогда не подходили, это и понятно: залив мелкий и весь усеян валунами, на которых любят отдыхать вороны и чайки. Дача просторная, двухэтажная, с террасой. Вблизи вместительный сарай и гараж. Огромные сосны и ели подступают к самому крыльцу, тут на участках не принято разбивать огороды, лишь под окнами можно увидеть несколько цветочных клумб.

Расположились в холле с ковром над широченной тахтой. На тумбочках стояли бронзовые светильники, на стенах – несколько литографии. На низком столе без скатерти выставлены блюда с салатом, поднос с колбасой и сыром, бутылки. Было даже шампанское. Компания подобралась в основном молодежная. Родители Вики уехали на собственной машине в Выборг с ночевкой. На подоконнике играл магнитофон, звук был сильный, звучный. Хрипловатым голосом пел по-

пулярный в ту пору певец.

Вадим и Николай Ушков сидели рядом, тут никто церемонно не знакомился. Вика всех называла по имени, так что скоро Вадим знал, как звать парней и девушек, а их собралось здесь человек восемь. Все парни были одеты по последней моде: куртки на молниях, клетчатые ковбойки, сильно зауженные книзу брюки. Подстрижены под канадскую польку.

Вадим, заранее настроенный приятелем, ожидал узреть писаную красавицу, но, увидев Вику, поначалу разочаровался: она была среднего роста, с длинными, цвета старой бронзы волосами, стянутыми на затылке резинкой. Однако, когда она, встретив их у калитки, приветливо заговорила, Вадим постепенно стал менять свое первоначальное мнение о девушке: голос у нее очень приятный, красивая белозубая улыбка. Когда она легкой походкой пошла впереди, нельзя было не обратить внимания на ее стройные ноги и тонкую талию.

«Ну как?» – глазами спросил Ушков.

Вадим неопределенно пожал плечами: мол, дальше видно будет.

У невысокого зеленого забора стояли серая «Волга» и красный «Москвич». Перед задним стеклом «Волги» разлегся плюшевый полосатый тигр с умильной мордой. За столом уже сидели гости, представлять приехавших Вика не стала, усадила на свободные стулья, попросила не стесняться, за-

кусовать с дороги и пить, что кому нравится. Говорили за столом о нашумевшем кинофильме «Плата за страх», потом перескочили на популярного итальянского певца Робертино Лоретти, называли еще какие-то иностранные имена, но Вадим о них никогда не слышал. Он иногда ловил на себе взгляды Вики; когда их глаза встречались, она свои отводила, а на лице появлялась какая-то странная улыбка. Вадим не мог понять, что она означает, и это его раздражало. Он отвернулся от Вики и стал рассматривать остальных гостей. Невысокий мужчина – он, пожалуй, самый старший в сегодняшней компании, на вид ему лет тридцать пять, – сидел рядом с высокой женщиной, будто проглотившей аршин. Она с отсутствующим видом смотрела прямо перед собой, по-видимому, внимательно слушала музыку. Лицо у нее правильное, но мрачноватое, темно-серые глаза выразительные. У мужчины короткая стрижка, волосы пепельного цвета – такие волосы бывают у блондинов, сильно поседевших. Вид у него довольно самоуверенный, движения энергичные; когда он говорил, остальные умолкали. Чувствовалось, что этот человек привык командовать, он и держался тут свободнее всех, раз или два с его языка сорвались крепкие словечки, впрочем, это отнюдь не шокировало компанию: такая манера входила у некоторой части интеллигенции в моду. Совсем юная девушка с невинным видом, в разговоре могла произнести такое словечко, которое и у бывалых мужчин не часто срывается с языка. Конечно, все это происходило в компаниях за столом.

В отличие от всех мужчина был в хорошо сшитом костюме, правда, без галстука.

Вадим тихонько осведомился у Ушкова, кто этот рыжий, как он про себя прозвал мужчину с пепельными волосами.

– Великий человек! – шепнул на ухо приятель. – Главный инженер СТО по фамилии Бобриков.

– Сто? – улыбнулся Вадим. – А почему не тысячи?

– Темный ты человек, – покачал головой Николаи. – СТО – это станция технического обслуживания автомобилей. Миша может твою машину отремонтировать, покрасить, отрегулировать, а может и к черту тебя послать, скажет, нет запчастей – и точка.

– То-то я гляжу, ему все в рот заглядывают, – заметил Вадим.

– Была бы у тебя машина – и ты бы заглядывал!

Еще одна пара привлекла внимание Вадима: светловолосый грузный парень с вислым носом и глазами навывкате и хрупкая тоненькая брюнетка с огромными сияющими глазами. Она на всех смотрела с улыбкой, глотками пила из высокого бокала шампанское и молчала. Толстый парень мало обращал внимания на свою миловидную соседку, он все время втыкал свой длинный нос в ухо сидящего рядом мужчины в белой рубашке и атласном жилете. Часто хрипло и, казалось бы, без всякого повода смеялся, показывая золотые зубы. Иногда бесцеремонно отстранял носатого и что-то тихонько говорил брюнетке с огромными глазами. Та кивала

ему и улыбалась. Она всем улыбалась – чувствовалось, что ей здесь нравится и настроение у нее отличное.

Позже, когда они вышли на веранду покурить, Ушков удовлетворил любопытство Вадима и рассказал о каждом. Носатый, с выпирающим из-под брюк животом, был молодой, но подающий надежды режиссер Беззубов Александр Семенович, соседка его – начинающая киноактриса Элеонора Бекетова. Она пока снялась в одном фильме, но Беззубов хочет дать ей в своем фильме главную роль, потому она такая и счастливая. Парень в жилетке – это талантливый писатель Воробьев Виктор Иванович, этакий русский рубаха-парень. Его повесть была опубликована в московском журнале. Вадим слышал о ней, но прочесть все недосуг было. Решил, что обязательно завтра возьмет в университетской библиотеке журнал. Все его внимание теперь переключилось на Воробьева. Он впервые был в компании с писателем. Виктор Иванович немного окает по-деревенски, хотя сам уже двадцать лет живет в Ленинграде, воевал, имеет награды. А Беззубов, оказывается, обхаживает прозаика, чтобы Воробей, как его фамильярно называл главный инженер Бобриков, взялся написать по мотивам своей популярной повести сценарий. И естественно, его, Беззубова, взял бы в соавторы. Режиссер навис над маленьким взъерошенным Воробьем как скала и что-то негромко долбил ему. Тот бесшабашно махал рукой, улыбался во весь золотозубый рот, мотал растрепанной головой с русыми жидкими волосами. Беззубов все наседавал на

него, но тот, по видимому, не слушал. Остановившись на веранде возле Вадима и Николая, Бобриков достал из кармана красивую газовую зажигалку и стал вертеть в пальцах. Он скользнул бегающим взглядом по Вадиму. Тот протянул сигареты.

– Не курю, – отказался главный инженер, наблюдая за режиссером и писателем. – Я Сашу знаю, парень-хват, нынче он доломает Воробья!

Вадим недоумевал: если он не курит, зачем же таскает в кармане зажигалку?

– Беззубов за фильм огреб кучу монеты, – продолжал Бобриков, чиркая зажигалкой. Тоненький голубоватый огонек чертиком выскакивал из золотистого цилиндрика. Вадим еще не видел таких зажигалок.

– А Воробьев? – любопытствовал Николай. – За сценарий ведь тоже много платят.

– Я в киношных тонкостях не разбираюсь, – ответил Михаил Ильич. – Но раз Саша мертвой хваткой вцепился в Воробья, значит, дело выгодное. Не пойму только, чего тот упирается.

– Не хочет брать Беззубова в соавторы, – заметил Ушков. – Он тогда половину гонорара теряет.

– Хоть что-то получит, а так – ничего, – усмехнулся Бобриков.

– Вы читали повесть Воробьева? – вежливо поинтересовался Вадим.

Бобриков бросил на него косо́й взгляд, глаза у него были светло-серые, насмешливые, крепкий, чисто выбритый подбородок немного выступал вперед.

– Я читаю только зарубежные детективы Сименона, Агаты Кристи, – ответил он. – От современной прозы меня в сон клонит. Кстати, от классики тоже. В театр и филармонию не хожу, предпочитаю вечерами сидеть у телевизора.

– В кино-то бываете? – вставил Николай.

– Саша Беззубов приглашает меня в Дом кино на просмотры зарубежных фильмов, а наши я не смотрю: тоска зеленая!

– Ну не скажите, – возразил Вадим. Он любил ходить в кинотеатры и не пропускал новинок. – А «Баллада о солдате»? «Летят журавли»?

– Куда? – спросил Михаил Ильич.

– Что куда? – опешил Вадим.

– Куда летят журавли?

– Ну знаете... – развел руками Вадим.

– То-то и оно! – торжествующе усмехнулся Бобриков. –

Никуда они не летят.

Вадим не нашелся, что на это ответить. Может, главный инженер СТО его разыгрывает? Николай подмигнул ему: мол, не спорь, напрасный труд.

Мимо них прошли Беззубов и Воробьев. Видно, поладили: оба улыбались и похлопывали друг друга по плечам. Николай тут же устремился к тоненькой артистке, все еще сидевшей с недопитым бокалом шампанского за столом. Боб-

риков пошел со своей суровой дамой, которая была выше его, на залив.

– Как вам наша компания? Не скучаете? – с улыбкой спросила Вика Савицкая, усаживаясь рядом с Вадимом на продавленный плетеный стул. На книжной полке топорщились обработанные сучки, изображающие диковинных птиц и зверюшек. Тут же обкатанные волнами камешки, раковины. В углу на подставке чучело цапли. Стекланный радужный глаз светился, как живой, а змеиная шея изогнулась наподобие латинской буквы S.

– Мне никогда не бывает скучно, – ответил он.

Девушка с интересом посмотрела ему в глаза.

– Вы счастливый человек, Вадим, – помедлив, произнесла она своим бархатистым голосом.

Он подумал, что женщина, обладающая таким красивым голосом, должна быть мягка и добра. У Воробьева голос грубый, хрипловатый, даже когда он разговаривает с женщиной, все время ожидаешь, что вот-вот сорвется с его языка крепкое словечко. Режиссер Беззубов произносил слова округло, проникновенно, будто каждое сначала обкатает во рту. У Бобрикова голос резкий, неприятный. Разговаривая с ним, ловишь себя на мысли, что ты оправдываешься перед ним в чем-то.

– Мы с вами нынче являемся свидетелями начала создания новой кинокартины, – продолжала Вика. – Витенька Воробьев написал очень миленькую повестушку, а Саша хочет

ее экранизировать. Это будет его первый полнометражный художественный фильм.

– А Элеонора Бекетова сыграет главную роль, – улыбнулся Вадим. – Вам не кажется, что она не очень-то похожа на колхозницу?

– У нее роль сельской учительницы.

– Я не читал повести, – признался Вадим. – Теперь обязательно прочту.

– Я сама не люблю читать про деревню, но у Воробьева там столько юмора! Я читала и до слез смеялась, хотя и пишет он отнюдь не о веселых вещах.

– Здесь хорошо у вас, – глядя в окно, задумчиво проговорил Вадим. Он подумал, что здорово было бы на такой даче с месяц пожить. Может, написал бы что-нибудь...

– Мне понравился ваш фельетон «Здравствуй, папа!», – заговорила Вика о другом. – Вы тоже обладаете чувством юмора, только ваш юмор злой.

– И вообще я злодей, – в тон ей произнес Вадим. – И чего пишу фельетоны? Когда-нибудь меня подкараулят в темном углу и по голове чем-нибудь тяжелым треснут...

– А может быть, героиня вашего фельетона просто брошенная мужем несчастная женщина?

– Она не была замужем, – с нескрываемой досадой заметил он. О своих фельетонах ему тоже не хотелось говорить. – Каждого знакомого она дочери представляла как нового папу. И таких пап было немало.

– Показать вам залив? – предложила Вика.

Они спустились по лесной тропинке в овраг, миновали дощатый домик с пристройкой. Возле него никого не видно, – по-видимому, нежилой. Однако когда Вадим оглянулся, то увидел в окне бледное пятно: кто-то, приподняв занавеску, смотрел им вслед. Они пересекли асфальтовое шоссе и вышли на берег. Сосны и ели тут были низкорослые, кряжистые, корнями крепко вцепившиеся в песчаную почву. Видно, тут на ветродуе им похуже приходится, чем сестрам по другую сторону шоссе. Наверное, поэтому они и росли не вверх, а вширь. С залива потянуло прохладой, ветви над головой шумели, под ногами на красноватом песке блестели сухие иголки. Машины с надсадным шумом проносились неподалеку и исчезали за поворотом. Приморское шоссе то и дело виляло, изгибалось, делало петли. Валуны в мелкой воде мягко светились, маленькие зеленоватые волны лизали песок, оставляя на нем желтоватые хлопья пены. На берегу громоздились черные коряги, толстые бурые водоросли, обработанные морем бутылочные осколки, белые дощечки, квадратные пробковые поплавки с дырками от сетей.

– Маленькой я после шторма утром прибежала сюда с мальчишками и собирала на берегу выброшенный морем разный хлам, – рассказывала Вика. – Знаете, что один раз нашла? Старинный атласный шапокляк! До сих пор не могу взять в толк, чего ему вздумалось из прошлого века в настоящий отправиться в путешествие по Балтийскому морю.

– Может, волшебный? – улыбнулся Вадим. Действительно, с чего бы это было плавать по морю шапокляку?

– Я его принесла домой, а, когда он высох, весь расплылся, остались лишь ржавые металлические пружины. Я даже заплакала от огорчения... А вы, Вадим, теряли что-нибудь в детстве?

– Я? – невольно улыбнулся он. – Я, пожалуй, само детство потерял в сорок первом...

– А-а, война, – понимающе заметила Вика. – Отец отправил нас с мамой из Ленинграда в Андижан... Есть такой город в Узбекистане.

– Вам повезло.

– Все наши соседи в блокаду погибли, – продолжала девушка. – Бомба насквозь пробила нашу квартиру, но не взорвалась. Стулья, книжные полки сожгли в печках... И даже пришлось поломать часть мебели. Папа до сих пор жалеет старинный «буль».

– Буль? – удивился Вадим. – А что это такое?

– Андре Буль – столяр-художник, он создал свой стиль инкрустированной мебели. В Эрмитаже есть шкафы, секретеры. Красное дерево с инкрустацией из меди, бронзы, черепахи, слоновой кости.

– Завтра же схожу в Эрмитаж и посмотрю на Буля, – сказал Вадим.

– Я считаю, что жечь в печке антикварную мебель – это варварство, – сухо заметила девушка. – Это соседка раско-

лотила наш «буль».

Они шли по влажному песку, на котором отпечатывались их следы. Изящные босоножки Вики оставляли маленькие, аккуратные, а грубые полуботинки Вадима – широкие, рыхлые, с поперечными бороздками. Вороны при их приближении отлетали дальше и снова усаживались у самого среза воды. На легкие волны, накатывающиеся на их тростинки-ноги, они не обращали внимания. Вдали виднелось несколько лодок с рыбаками. Вадиму вдруг захотелось все сбросить с себя и кинуться в залив. На него иногда такое находило. Он бы и выкупался, несмотря на холодную воду, да вспомнил, что на нем широченные синие трусы.

– Если прямо идти, то придем в Зеленогорск, – говорила Вика. Ветер трепыхал ее «конский хвост», юбка облепляла ноги, она нагибалась и поправляла ее. – А в Репине вы были? Там до самой смерти жил Илья Ефимович Репин.

– Я даже в музее Пушкина еще не был, – признался Вадим. – Зато несколько раз проходил на Литейном мимо парадного подъезда, который описал Некрасов... Честно говоря, совсем времени нет. – Он будто бы оправдывался. – Ведь я работаю и учусь.

– Я бы так не смогла, – вздохнула Вика. – Мне учиться-то лень.

Она рассказала, что учится в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина на Университетской набережной, где знаменитые сфинксы, ее специаль-

ность – искусствоведение. Остался еще год, она и представления не имеет, где будет работать, скорее всего – экскурсоводом в каком-нибудь музее. Конечно, родители не отпустят из Ленинграда. Она ведь одна у них, а ей все так надоело! Хотелось бы пожить где-нибудь далеко совсем одной...

Вадим усомнился в искренности ее слов: он, слава богу, знал, как все цепляются за Ленинград! Савицкая просто пижонит, она отлично знает, что влиятельный папочка всегда поможет...

– При моей специальности уезжать из Ленинграда – это, конечно, безумие, – будто отвечая его мыслям, заметила девушка. – И потом... я все-таки здесь родилась.

«Чего же тогда треплешься, что хочется уехать?.. – подумал Вадим. – Ради красного словца?» А вслух сказал:

– А мне хотелось бы жить на берегу озера в деревне. Дом, баня, лодка и скворечники на каждом дереве...

– Вы романтик, Вадим!

Две вороны затеяли возню на песке, одна вырывала у другой раскрытую раковину. Они смешно подпрыгивали, взмахивая крыльями, клевались и хрипло кричали. Третья ворона с вертикально торчащим на спине пером наблюдала за ними, сидя на ветке сосны. Вот она бесшумно спланировала сверху прямо на раковину. На лету схватила ее клювом и отчаянно замахала крыльями в сторону шоссе. Вороны, перестав драться, дружно бросились в погоню. Скоро они все исчезли за кронами деревьев.

– Вот и в жизни так, – заметила Вика. – Пока одни выясняют отношения, спорят, что-то доказывают, другие у них из-под носа хватают что плохо лежит – и деру!

– А мне, глядя на ворон, пришла в голову другая мысль, – улыбнулся Вадим. – Откуда у людей жадность? Сколько раз я видел, как человек все тащит в свой дом, на участок, в кладовку... Тащит с работы, с улицы, готов хватать с неба... У одного знакомого художника я увидел в квартире автомобильный знак «Проезд запрещен!». Он прибил его к дверям туалета. Гости удивляются остроумию хозяина, а бедные водители штрафы платят за неправильный проезд!

– А при чем тут вороны? – удивилась Вика.

– Вороны? – Вадим взглянул в ту сторону. – Действительно, вороны тут ни при чем.

– Странный вы, Вадим!

– Это хорошо или плохо? – испытующе посмотрел он девушке в глаза.

– Вы напишете про этого художника фельетон?

– Я сейчас работаю над очерком, – ответил Вадим. – Соприкоснувшись с неприглядными сторонами нашей жизни, мне хочется поскорее написать что-нибудь о хорошем человеке... – Он снова бросил взгляд на галдящих ворон. – Только почему-то людям интереснее читать про жуликов, воров, хапуг, хамов, а очерки о положительных людях оставляют их равнодушными.

– Я рада, что вы неравнодушный, – сказала Вика.

– Да откуда вы знаете, какой я?

– О-о, Вадим! – рассмеялась она. – Вы недооцениваете женскую интуицию!

– Я вообще плохо знаю женщин, – вздохнул он.

Вика внимательно посмотрела на него и спросила совсем о другом:

– Вам понравился Саша Беззубов?

– Я стараюсь не судить о людях по первому впечатлению, – уклонился Вадим от прямого ответа.

Беззубов ему не понравился, как-то очень уж настырно он обрабатывал пьяненького Воробьева. Со стороны видеть это было неприятно, а кинорежиссеру, очевидно, было начхать на других. Он вцепился как клещ в разомлевшего писателя. Даже на милovidную Элеонору, с которой приехал сюда, не обращал внимания. Да и на Вадима с Николаем Ушковым, когда они пришли, он взглянул вскользь и тут же снова повернулся к Воробьеву. Что-то хищное было в его грузной фигуре, выражении лица.

– Не понравился, – констатировала Вика. – Он никому из моих знакомых не нравится, однако я слышала, что он очень способный.

– Я его фильмов не видел, – ответил Вадим.

– У него собачий нюх на выигрышную тему, – продолжала Вика. – Воробьев для него находка. «Иду на премию!» – так он заявляет всем, говоря о будущем фильме по повести Воробьева. И что вы думаете? Получит, он такой.

– Князь Святослав говорил: «Иду на вы!» – а современный режиссер: «Иду на премию!»

– Пытаюсь я понять вас: что вы за человек? Насмешливый, жестокий или...

– И какой же я? – видя, что она запнулась, спросил Вадим.

– Ох, не хотела бы я быть героиней вашего очерка, – сказала она.

– Станьте «героиней» новой повести Виктора Воробьева, – усмехнулся Вадим.

– Пожалуй, вы не жестокий, – раздумчиво продолжала девушка. – Скорее, нетерпимый к недостаткам ближних...

– До двадцати лет мои близкие и знакомые внушали мне, что я весь состою из одних недостатков, – вдруг разоткровенничался Вадим – Я чуть уж было и не поверил им... Знаете, Вика, до того, как я всерьез взялся за журналистику, я не знал, что из меня получится. Я и сейчас еще точно не знаю, но чувствую, что занялся делом, которое мне близко и нравится. Когда увидел в газете свой первый фельетон, я испытал такое глубокое чувство удовлетворения, какое не испытывал ни от какой другой работы, а поработать мне пришлось немало, как и сменить множество профессий. Дело даже не в том, что я увидел свою фамилию напечатанной, главное – я понял, что могу делать полезное дело и оно мне по душе. Я ведь написал не только «Здравствуй, папа!». У меня написано еще четыре фельетона... Когда писал их, думал – открытие! А потом перечел и положил, как го-

ворит наш ответственный секретарь, «в семейный альбом». Слабые фельетоны, хотя темы, кажется, затронул серьезные. Иногда я пишу фельетон за два-три часа, а бывает, и два-три дня бьюсь над ним, – пояснил он. – Может, когда быстро получается, это и есть... озарение?

– Вы меня спрашиваете? – улыбнулась Вика. – Я письма-то не люблю писать. А за школьные сочинения никогда не получала выше тройки.

– Давайте о чем-нибудь другом? – попросил Вадим. – Один пишет картины, другой сочиняет музыку, третий – книги, а как все это делается, по-моему, невозможно объяснить. По крайней мере, я не встречал ни у одного писателя вразумительного объяснения, как он стал писателем. Какие-то несерьезные истории, случаи, а о самом творческом процессе, по-видимому, невозможно написать. Мои фельетоны – это пустячки по сравнению с настоящим творчеством, а я и то не могу вам растолковать, как я их пишу.

– Садитесь за письменный стол или за парту в университете и... делаете шедевр! – подражая его тону, произнесла она.

– Посмотрите, море выкинуло на берег живого спрута! – показал он на берег, где толстые зеленоватые водоросли свились в кольца, а одно длинное рубчатое щупальце далеко выползло на песок. Когда тонкая пленка воды накатывалась на эту массу, казалось, она шевелится.

– Может, это тот самый спрут, который напал в океанских

глубинах на легендарного Моби Дика?

– Моби Дик сражался в бездне с гигантскими кальмарами, – поправил Вадим.

Он очень любил Германа Мелвилла, а «Моби Дика» прочел дважды. Вообще, он увлекался литературой о животном мире. У него была старинная гравюра, на которой изображен поднимающийся из морских глубин огромный, как остров, кракен, не похожий ни на одно животное чудище. И еще хранилась иллюстрация из журнала «Знание – сила»: глубокий пруд, покрытый желтыми осенними листьями, у самой поверхности застыла большая рыбина, задумчиво взирающая из водного мира на воздушный. И сколько было человеческой печали и философского раздумья на выразительной пучеглазой треугольной морде представителя подводного царства!

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.